



... в Обществе
России и Азии
Архивист

Томский

из Пушкина

ПУШКИНСКАЯ РЕЧЬ

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Пушкин есть Моисей. ~~Видно, что~~
~~у Пушкина есть единственное явление русского духа~~
Видно, что ~~он~~ сказал слово. Привет
от себя: и пророк. Да, в
ленин Составитель В.А. Викторovich
Русский. Имя великого пророка

Методы культуры: филология

**Пушкинская речь Ф.
М. Достоевского как
историческое событие**

«АЛЬМА МАТЕР»

2021

УДК 821.133.1-3
ББК 83

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие /
«АЛЬМА МАТЕР», 2021 — (Методы культуры: филология)

ISBN 978-5-904993-90-0

Пушкинская речь Ф.М. Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 г. в московском Благородном собрании на заседании Общества любителей российской словесности, до глубины души потрясла многочисленных слушателей. Очень скоро исходный текст Речи оброс разноречивыми интерпретациями и стал средоточием острой идейной борьбы, в которой столкнулись противостоящие друг другу модели исторического развития России. Для одних заявленная Достоевским русская «всечеловечность» была утопией, а для других — пророчеством. Речь стала единственным подобного рода событием русской истории. Ее «тайну», то есть смысл и значение, без малого полтора века «разгадывают» критики, писатели, философы, исследователи. А тема Речи все так же актуальна и для сегодняшней России, и споры о судьбе страны звучат совсем не как голоса далекого прошлого. В издании впервые с исчерпывающей полнотой собраны реакции современников на Речь. Это эгодокументы (письма, дневники, мемуары), оставленные свидетелями исторического события, а также отклики в газетах и журналах, быстро перешедшие в горячую полемику. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1-3

ББК 83

ISBN 978-5-904993-90-0

, 2021

© АЛЪМА МАТЕР, 2021

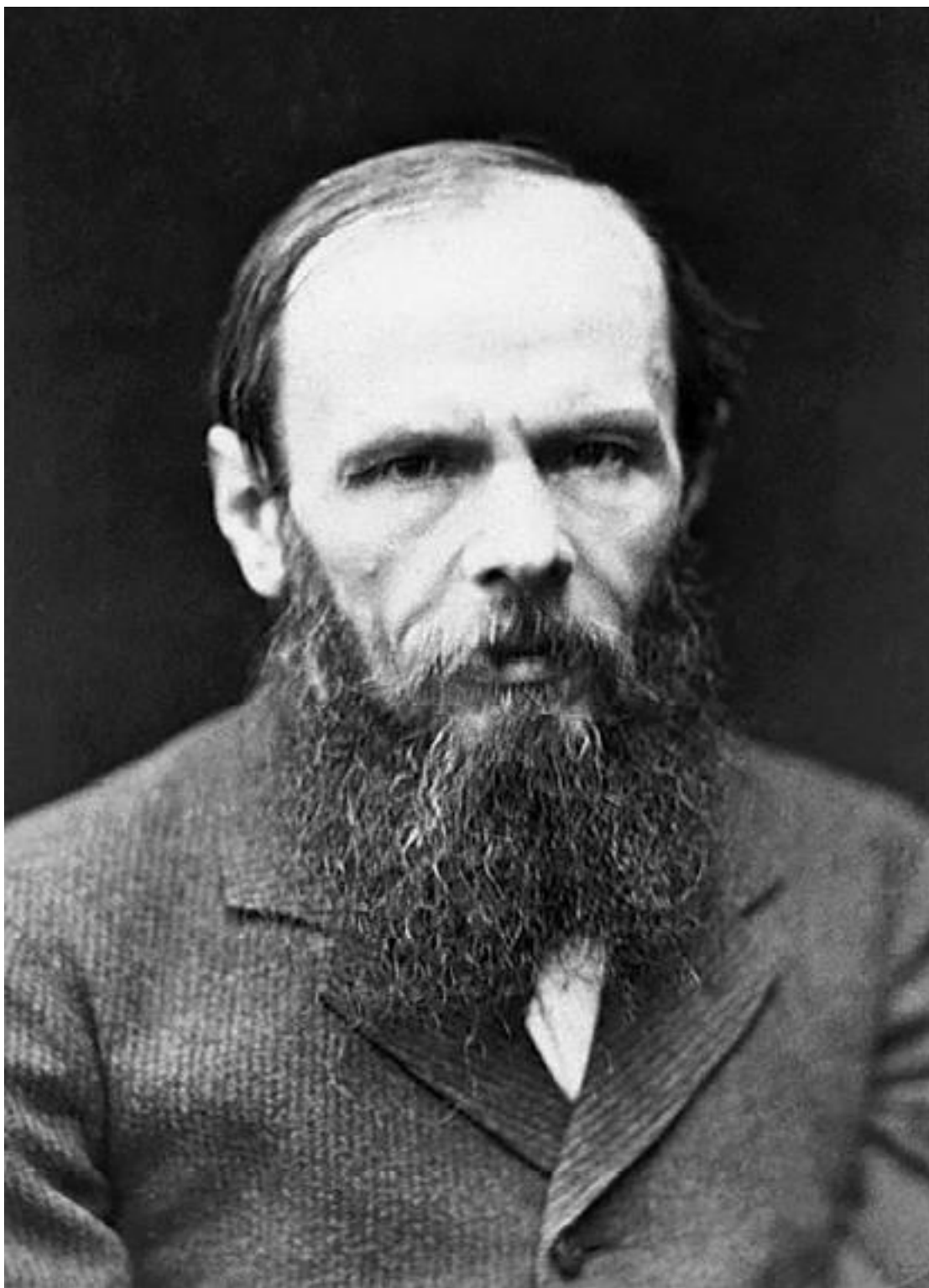
Содержание

Ф.М. Достоевский	10
Как это было. Свидетельства	20
Ф. М. Достоевский	21
Ф. Д. Самарин	22
Агент III отделения А. П. Мальшинский	24
А. М. Барсукова	28
И. С. Аксаков	30
М. А. Веневитинов	32
В. О. Михневич	35
М. М. Ковалевский	36
Н. Н. Страхов	37
Г. И. Успенский	42
И. Ф. Василевский	43
А. Ф. Кони	45
А. М. Сливцкий	47
С. И. Уманец	48
К. А. Тимирязев	49
А. В. Амфитеатров (1921)	50
А. В. Амфитеатров (1931)	58
Д. А. Олсуфьев	63
Д. Н. Любимов	65
С. С. Бобчев	74
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие

Издание подготовил Владимир Викторович

Издано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации



Федор Михайлович Достоевский.

Фотография М.М. Панова. 9 июня 1880 г. Москва

Издательство благодарит Музей книги Петра Дружинина и Александра Соболева за предоставление Автографа А.С. Пушкина М.А. Голицыной, 1825



© В. А. Викторович, сост., статья, коммент., 2021

© Музей книги Петра Дружинина и Александра Соболева, автограф, 2024

© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2024

© Издательство «Альма Матер», 2024

Прочтено в Лекции в Восточном
 Обществе любителей Русской
 Славяносп. М. в 1880 г.

Буржуазия (М. Курманжуров подает звание
 гонимой (порабощенной) М. Н. - 24)

Пушкин,
 (Сочинения)

Пушкин есть великий, величайший русский
 поэт, и пророк. Да, в назв.
 лении его заключаются для всего народа,
 Русского, нечто бесспорно пророческое.
 Пушкин как раз ^{приходит} ~~является~~ в са-
 мом начале правильного самосозна-
 ния нашего, едва лишь начиналось
 и зарождалось в обществе нашем
 после полного стелания с Петровской
 реформы, и появление его сильно со-
 бствует оживлению телной дороги
 нашей, возмел направляющую свет-
 лость. Во Фрэн-то смысле Пушкин
 есть пророчество и указание. И думам.

Ф.М. Достоевский Пушкин (Очерк)¹

Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности

«Пушкин есть явление чрезвычайное и может быть единственное явление русского духа» – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, Русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу однако же мимоходом, что периоды деятельности Пушкина, кажется мне, не имеют твердых границ между собою. Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» во втором уже периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприимчив и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам Парни, Андре Шенье и другим, но особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин например в «Цыганах», – поэме которую я отношу всецело еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только лишь подражал. В типе Алеко, героя поэмы «Цыганы», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в Онегине, где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил образ того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его конечно не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго кажется не исчезнут. И если не ходят уже они теперь, в наше время, в цыганские таборы искать у Цыган, в их диком своеобразном быте, своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества, то, всё равно, ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья, не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье чтоб успокоиться, дешевле он не примирится, – конечно пока дело только в теории. Это всё тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой Петровской реформы в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда при

¹ Печатается по рукописи: РГБ. Ф. 93. I. 2. 15. С. 27–75 (авторская пагинация: 1–25).

Пушкине, как и теперь в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто деньги наживают разными средствами, или даже и науками занимаются, читают лекции, – и всё это регулярно, лениво и мирно, с получением жалования, с игрой в преферанс, без всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь, в места более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому придан некоторый благодушный русский характер, но ведь всё это вопрос только времени. Что в том что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь «избранных», довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать через них покоя. Алеко конечно еще не умеет правильно высказать тоски своей: у него всё это как-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо. В чем эта правда, где и в чем она могла бы явиться – и когда именно она потеряна, конечно он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних, да так и быть должно: «Правда, дескать, где-то вне его, может быть где-то в других землях, европейских например, с их твердым историческим строем, с их установившейся общественной и гражданской жизнью». И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разделено образованное общество русское. Он пока всего только оторванная былинка, носящаяся по воздуху. И он это чувствует и этим страдает, и часто так мучительно! Ну и что же в том, что принадлежа может быть к родовому дворянству и даже весьма вероятно обладая крепостными людьми, он позволил себе, по вольности своего дворянства, маленькую фантазийку прельститься людьми живущими «без закона» и на время стал в цыганском таборе водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта, всего скорее могла подать ему надежду на исход тоски его, и он с легкомысленной, но страстной верой бросается к Земфире: «Вот, дескать, где исход мой, вот где может быть мое счастье, здесь, на лоне природы, далеко от света, здесь, у людей, у которых нет цивилизации и законов». И что же оказывается: при первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обгаряет свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для Цыган не пригодился несчастный мечтатель и они выгоняют его, – без отщипания, без злобы, величаво и простодушно:

«Оставь нас гордый человек;
Мы дики, нет у нас законов
Мы не терзаем, не казним».

Всё это конечно фантастично, но «гордый-то человек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным и это надо запомнить. Именно, именно, чуть не по нем и он злобно растерзает и казнит за свою обиду или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет может быть (ибо случалось и это) к закону терзающему и казнящему, и призовет его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, эта гениальная поэма не подражание! Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись гордый человек и прежде всего сломи свою гордость. Смирись праздный человек и прежде всего потрудись на родной ниве» –

вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собою и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостойн, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая что за нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в «Онегине», поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой и с такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его пожалуй.

—

Онегин приезжает из Петербурга, – непременно из Петербурга, это несомненно необходимо было в поэме и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, особенно потом когда он восклицает в тоске

«Зачем как тульский заседатель
Я не лежу в параличе?»

Но теперь, в начале поэмы он пока еще наполовину фат и светский человек и слишком еще мало жил чтоб успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоить

«Бес благородный скуки тайной».

В глуши, в сердце своей родины, он конечно не у себя, он не дома. Он не знает что ему тут делать и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно слышал и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, – и тогда как и теперь не многих, – смотрит с грустною насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем знать, может быть от хандры по мировому идеалу, – это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и конечно умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть Пушкин даже лучше бы сделал, если б назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе – кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей перед ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно может быть принял ее за «нравственный эмбрион». Это она-то эмбрион, это после письма-то ее к Онегину! Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это конечно он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он узнать ее: разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его

жизнь. Не узнал он ее и потом в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, «постигал душой все ее совершенства». Но это только слова: Она прошла в его жизни мимо него неузнанная и нецененная им, в том и трагедия их романа. О, если б тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон, и заметив ее робкую скромную прелесть, указал бы ему на нее, – о, Онегин тотчас же бы был поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах, так много подчас лакейства духовного! Но этого не случилось и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировой тоской своей и с пролитой в глупенькой злости кровью на руках своих, скитаться по родине, не примечая ее и, кипя здоровьем и силою, восклицать с проклятиями:

«Я молод, жизнь во мне крепка,
Чего мне ждать, тоска, тоска!»

Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившую дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недостижимой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разглядывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и «нравственный эмбрион» останавливается наконец в раздумьи, с странной улыбкой, с предчувствием разрешения загадки и губы ее тихо шепчут:

«Уж не пародия ли он?»

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. В Петербурге, потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что светская, придворная жизнь тлетворно коснулась ее души, и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она напротив удручена этой пышной петербургской жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину:

«Но я другому отдана
И буду век ему верна».

Высказала она это как русская женщина вполне, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака – нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «Я вас люблю» – потому ли, что она, «как русская женщина» (а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием чести, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем во что поверит, и она доказала это. Но она другому отдана и будет век ему верна. Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, и за которого вышла потому только, что ее

«с слезами заклинаний / Молила мать»,

а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «молила мать», но ведь она, она, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честной женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только что «тут мое счастье»? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того – пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание положим хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми? Скажите могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокой душой, с ее сердцем столько выстрадавшим? Нет: чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее чем несчастье этого старика, пусть наконец никто и никогда, и этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина. Скажут: да ведь несчастье же и Онегин, одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже может быть самый важный в поэме. Кстати вопрос, почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в литературе нашей, своего рода историю, весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение этого вопроса, столь долго подвергалось у нас сомнению. Я вот как думаю: если б Татьяна даже стала свободною, если б умер ее старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным? Надобно же понимать всю суть этого характера! Ведь она же видит кто он такой: Вечный скиталец увидел вдруг женщину, которую прежде пренебрег, в новой блестящей недостижимой обстановке, – да ведь в этой обстановке-то пожалуй и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет – свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления – вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный: «Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а «счастье было так возможно, так близко!» И как прежде Алеко к Земфире, так и он устремляется к Татьяне, ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений. Да разве этого не видит в нем Татьяна, да разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твердо знает, что он, в сущности, любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную как и прежде Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то что она есть, что не ее даже он и любит, что может быть он и никого не любит, да и не способен кого-нибудь даже любить, несмотря на то что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия. Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии, и в страдальческом сознании что погибла ее жизнь – все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа: это ее воспоминания

детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь, – это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни». О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния. И этого не мало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святыней. А у него что есть и кто он такой? Не идти же ей за ним из сострадания, чтоб только потешить его, чтоб хоть на время, из бесконечной любовной жалости, подарить ему призрак счастья, твердо зная наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо. Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным.

Итак в «Онегине», в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с исторической судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и конечно тоже первый из писателей русских, провел перед нами в других произведениях этого периода своей деятельности, целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, – правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят как изваянные. Еще раз напомним: говорю не как литературный критик, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробным литературным обсуждением этих гениальных произведений нашего поэта. О типе русского инок-летописца, например, можно бы было написать целую книгу, чтоб указать всю важность и всё значение для нас этого величавого русского образа отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть, стало быть и дух народа, его создавший, есть, стало быть и жизненная сила этого духа есть и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть и надежда, великая надежда за русского человека,

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни —

сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде ни после его, не соединился так задушевно и родственно с народом своим как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших об народе, а между тем, если сравнить их с Пушкиным, – то, право же, до сих пор, за одним, много что за двумя исключениями из самых позднейших последователей его, – это лишь «господа» о народе пишущие. У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул – нет-нет а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления. Возьмите сказание о Мед-

веде и о том как убил мужик его боярыню-медведицу, или припомните стихи: «Сват Иван как пить мы станем» – и вы поймете, что я хочу сказать.

Все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. По крайней мере не проявились бы они в такой силе и с такою ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии, уже в наши дни. Но не в поэзии лишь одной дело, не в художественном лишь творчестве: не было бы Пушкина не определилась бы может быть с такою непоколебимою силою (в какой это явилось потом, хотя всё еще не у всех, а у очень лишь немногих) – наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в наше грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Этот подвиг Пушкина особенно выясняется, если вникнуть в то, что я называю третьим периодом его художественной деятельности.



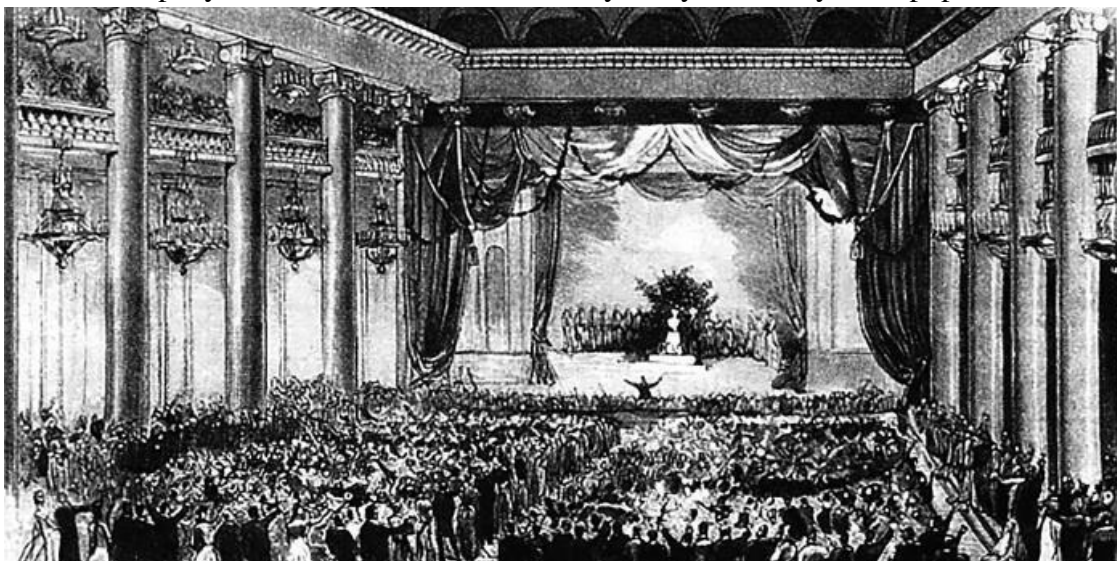
Еще и еще раз повторю: эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли например начаться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным так сказать организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено в глубине души его. Но организм этот развивался и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина. И в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого. В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себя с такою силою гений чужого, соседнего может быть с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его итальянцы например, почти сплошь те же англичане. Пушкин – лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из Фауста, вот Скупой рыцарь и баллада: «Жил на свете рыцарь бедный». Перечтите Дон-Жуана, и если б не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме: «Пир во время чумы». Но в этих фантастических образах слышен гений Англии, эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери с стихами:

«Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса»,

это английская песня, это тоска Британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего. Вспомните странные стихи:

«Однажды странствуя среди долины дикой».

Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего Английского религиозного сектатора, – но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов угадана самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреодолимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится наконец самая история и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом, религиозные же строфы из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот «Египетские ночи», вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие, в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирной отзывчивостью как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а, по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих к всемирности и к всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.



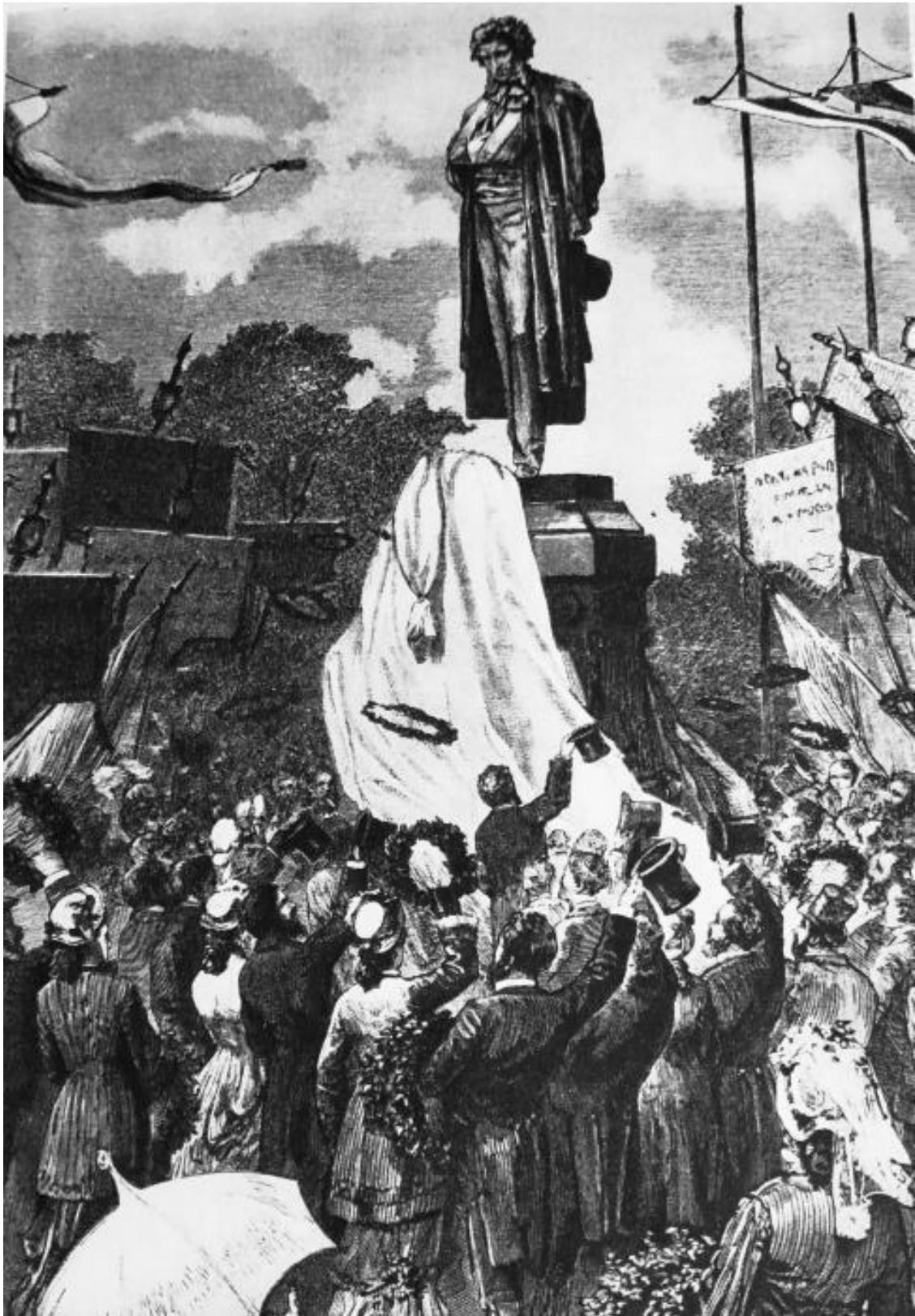
Зал Московского благородного собрания во время пушкинских торжеств 1880 г.

Гравюра с наброска Николая Чехова

В самом деле, что такое для нас Петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем как дело было, поглядим пристальнее: да, очень может быть что Петр, первоначально, только в этом смысле и начал производить ее, т. е. в смысле ближайше-утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель чем ближайший утилитаризм, – ощутив эту цель опять-таки конечно, повторяю это, бессознательно, но однако же и непосредственно, и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как казалось должно бы было случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, к всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого Арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским может быть и значит только (в конце концов это подчеркните) стать братом всех людей, «всечеловеком» если хотите. О, всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя историческое и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике как не служила Европе может быть гораздо более чем себе самой? Не думаю чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, – т. е. конечно не мы, а будущие грядущие русские люди, поймут уже, все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противуречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всеобъединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов может быть и изречь окончательное Слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь что их высказал. Этому должно быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, всё это покажется самонадеянным: «Это нам-то дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать Новое Слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том что к всемирному, к всечеловечески-братскому единению сердце русское может быть из всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в худо-

жественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего Слова Его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей как родные. В искусстве по крайней мере, в художественном творчестве он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть по крайней мере на чем этой фантазии основаться. Если б жил он дольше, может быть явил бы бессмертные и великие образы души русской уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы может быть менее недоразумений и споров чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Как это было. Свидетельства



*Открытие памятника Пушкину. Момент снятия покрывала.
Гравюра с наброска Николая Чехова*

Ф. М. Достоевский

Москва 8 июня/80
8 часов пополудни,
Гостиница Лоскутная
(в № 33-м).

Дорогая моя Аня, я сегодня послал тебе вчерашнее письмо от 7-го, но теперь не могу не послать тебе и этих немногих строк, хоть ужасно измучен, нравственно и физически, так что это письмо ты получишь, может быть, вместе с первым. Утром сегодня было чтение моей речи в «Любителях». Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, *нуль* сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от «Карамазовых»). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!) Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!» «Пророк, пророк!» – кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более чем гений!» – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя – *есть не просто речь, а историческое событие!* Туча облегла горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений. «Да, да!» – закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное, женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности единогласно избирает меня своим *почетным* членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что всё сказано и всё разрешило великое слово нашего гения – Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре, лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: «За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!» Все плакали, опять энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. – Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залого будущего, залого *всего*, если я даже и умру. <...>

Ф. Д. Самарин

Москва, 9 июня <1880 г.>

Духов день

Не удивляйся, милая Соня, что я так поздно принимаюсь за ответ на твое письмо: прежде не о чем было писать, и потому я выжидал окончания пушкинских торжеств, которые зато дают мне столько материала, что я не знаю, как с ним совладать. И во-первых, оставляю в стороне внешнее описание первых трех дней праздника: вы это вычитаете из газет, которые папá собирается вам послать; там же вы прочитаете превосходную статью Каткова о Пушкине – мо<жет> б<ыть>, лучшее изо всего, что было писано и говорено, за исключением вчерашней речи Достоевского. Вот об этой-то речи я и хочу рассказать тебе, потому что до возвращения в Россию тебе едва ли удастся ее прочитать. – Вчера, в два часа дня, открылось заседание Общ<ества> любителей российской словесности (второе заседание) незначительной и скучною речью Чаева. Затем вышел на кафедру Достоевский, встреченный дружным приветствием публики. Я не в состоянии, конечно, изложить тебе последовательно содержание его длинной, часто прерывавшейся аплодисментами речи. Скажу только, что он подразделил все произведения Пушкина на два разряда: в первых изображаются типы русские, народные; во вторых развиваются идеи общечеловеческие, мировые. Из первых он особенно остановился на «Цыганах» и «Евгении Онегине», и эта часть его речи до такой степени замечательна, что к ней вполне идет эпитет «гениальный», употребленный И. С. Акс<ак>овым о всей речи Достоевского. Достоевский тут мастерски очертил этот тип русского скитальца, еще несколько туманно изображенный в Алеко («Цыганы») и вполне отчетливо выразившийся в Онегине. Этот тип он назвал типом отрицательным. Но рядом с ним он нашел тип положительный – именно Татьяну, в которой он, в противоположность Белинскому, видит идеал Пушкина, идеал русской женщины, подобный которому он находит только в Лизе Тургенева («Дворянское гнездо»). Особенно выдавался психологический разбор характера Татьяны и ее сравнение с Онегиным. Затем Дост<оев>ский перешел к другому разряду произведений Пушкина, где, как в «Фаусте», «Каменном госте», «Скупом рыцаре» и т. д., – развиваются идеи мировые и где поэт берет материал из чужой жизни. Тут он особенно старался выяснить необыкновенную отзывчивость Пушкина, его удивительную способность переноситься вполне в чужую народность. Эту способность он признал за ним в большей степени, чем за каким-либо другим великим поэтом, и усмотрел в ней народную русскую черту. Это его привело к вопросу о мировом значении русской народности. Эта часть его речи, по-моему, страдает некоторою неопределенностью и туманностью, но тем не менее произвела необыкновенное впечатление. Он стал развивать свою давнишнюю любимую мысль, – что основная черта русской народности и состоит именно в стремлении к общечеловечности и что, только став русским, только припав к земле, и можно достигнуть общечеловечности. Этим он примиряет славянофильство и западничество, спор между которыми он считает происшедшим от недоразумения. Таково основное содержание речи Дост<оев>ского. Понятно, мои слова могут только намекнуть приблизительно на то, о чем шло дело, они никак не могут передать впечатления, произведенного речью, блиставшею глубиною мысли и остроумием, да притом прочтенной с необыкновенным чувством. А впечатление было поистине необычайное! Во время речи ежеминутно принимались аплодировать, а по окончании все встали, дамы и девицы замахали платками и захлопали, мужчины совсем вышли из себя: застучали ногами, закричали «браво», замахали шляпами – словом, произошло что-то небывалое. Уверяют (сегодня в «Соврем<енных> извест<иях>»), что многие плакали, а один молодой человек взбежал на эстраду и, не найдя там Достоевского, упал в нервном припадке. И что всего замечательнее, это, что так принята была речь, в которой были мно-

гие места необыкновенно смелые и большинству несочувственные: так было несколько резких выражений об интеллигенции, был горький, но справедливый отзыв о наших социалистах и пр. После Достоевского наступил перерыв в заседании; члены общества удалились: очередь была за Аксаковым, но он отказался, говоря, что его речь *не нужна* после речи Достоевского. Однако, ввиду неудовольствия, которое возбуждал этот отказ, папá уговорил И. С. <Аксакова> взойти на кафедру и сказать сначала те несколько слов, которые им были приготовлены, чтобы мотивировать свой отказ, говоря, что сама публика потребует, чтобы он читал. Он действительно вышел на кафедру и сказал, что никто, мож<ет> б<ыть>, не радовался речи Д<осто-ев>ского более, чем он, Аксаков, что его речь есть лишь слабая вариация на тему, которая так художественно, так блистательно, так гениально была развита Дост<оев>ским. Что вчера еще можно было спорить и рассуждать о том, народный ли поэт Пушкин, или нет, а что теперь речь Достоевского, как молния, озарила всех светом и что к ней с одинаковым сочувствием присоединяется как представитель крайнего славянофильства – Ив<ан> Серг<еевич> Акс<аков>, так и представитель крайнего западничества – Ив<ан> Сергеев<ич> Тургенев. Так что вопрос исчерпан и толковать об нем более нечего. Это было очень хорошо принято, с дружными рукоплесканиями, но потребовали тем не менее, чтоб он прочел свою речь, и даже когда он обещал прочесть отрывки, – закричали: «всю, всю!» Конечно, речь его – длинная и наполненная рассуждениями, и сама по себе не особенно удачная, тут, после удивительно оригинальной речи Достоевского, показалась бледною. Рукоплескания вызвал только ее конец и отрывки их стихотворений, мастерски прочтенные. Следующих речей уже никто не слушал; закончилось всё новым торжеством Достоевского (который перед тем еще был выбран в почетные члены Общ<ества> л<юбителей> р<оссийской> сл<овесности>); курсистки поднесли ему лавровый венок, и одна из них сказала ему, говорят, очень милое приветствие. Наконец в заключение предложили подписку на памятник Гоголю (на Никитск<ом> бульваре) и тут же собрали около 4-х тысяч.

Вот тебе краткое описание вчерашнего дня, самого замечательного изо всех четырех дней праздника. <...>

Агент III отделения А. П. Мальшинский

[Отчет 8 июня]

<...> Достоевский (Ф. М.), встреченный дружными и продолжительными рукоплесканиями, восставал против мнения, будто Пушкин подражал иностранным писателям. Пушкин находился под влиянием западных поэтов, но им не подражал, причем его самостоятельность сказывается в первых же произведениях. Одинаково несправедливо строгое деление поэтической деятельности поэта на три периода. Его Алеко (в «Цыганах») есть тот же Евгений Онегин. Алеко – «это тип исторического русского страдальца, тип скитальца, надолго поселившийся в нашей жизни. Если в наши дни люди этого типа не идут в цыганский табор, чтобы отрешиться от нелепой жизни нашего интеллигентного общества, то они уходят в социализм. Остающиеся не бегут, но и не живут правильной жизнью, а служат казне или банкам и наживаются иным способом. И всех интеллигентных людей ожидает то же, если они не войдут в тесное общение с народом». В Алеко есть кое-что из Жан-Жака Руссо. «Он не может понять, что правда в его душе, да и как понять ему это, когда у себя он сам не свой, живя среди 14 классов, на которые разделено русское общество» (*рукоплескания*). Безыскусственная, «дикая женщина» всего скорее, по-видимому, могла бы подать ему надежду на исход томящей его тоски. Вот почему Алеко и бежит в табор к цыганам. Но что же оказывается? При первом столкновении с жизнью он даже и для цыган не пригодился (*рукоплескания*). В лице Алеко впервые дан урок русскому обществу, в то время целиком состоявшему из высшего сословия, поднят социальный вопрос, «этот проклятый вопрос русской жизни»; своей фантастической поэмой поэт как бы говорит: «смирись, гордый человек, смирись, праздный человек!» (*Громкие рукоплескания*).

В «Евгении Онегине» творчество Пушкина достигает полноты и законченности, небывалой ни прежде, ни после. Онегин – это тот же отрицательный тип, воплощенный в образе Алеко. Побывав в чужих краях, присмотревшись к тамошней жизни, Онегин любит Россию, но ей не верит и томится тоской, не находя работы на родной почве. В сущности, не Евгений Онегин главное действующее лицо; настоящая героиня повести – это Татьяна, и ее именем поэту следовало бы озаглавить свое творение. «Татьяна – тип твердый и положительный, тип высокой красоты, апофеоз русской женщины». Другой подобный тип мы находим разве только в образе Лизы «Дворянского гнезда». (*При этих словах раздаются дружные рукоплескания. Тургенев поднимается со своего места и кланяется публике*). Но этой-то красоты и не мог распознать Евгений Онегин при своей манере глядеть на всех свысока. Да и мог ли он знать душу человека? Это бесплодный мечтатель, незнакомый с русской жизнью, знавший только Петербург. Он отнесся к Татьяне почти презрительно и с тоской, запачкав руки «глупенько пролитой» им кровью, опять пошел шататься в белом свете. Но Татьяна его вполне разгадала. Когда Онегин вновь встречается с этой женщиной, светская жизнь ее не испортила, но подломила и заставляет страдать. Она жила воспоминаниями детства, душу ее привлекали деревня, природа, то место, та среда, где стоит крест над могилой матери и где она приходила в соприкосновение с народом, с его правдой (*рукоплескания*). В Онегине же ничего этого нет. Он «устремляется к ней» в Петербурге, потому что ей поклоняется свет. Она это хорошо видела, понимала, что не ее он любит, что этот человек даже никого не любит. Ее честный ответ Онегину есть вместе с тем ее апофеоз. Она отказалась идти не потому, что не в силах была «порвать пути» и бросить светскую обстановку.

«Я вас люблю – к чему лукавить!
Но я другому отдана
И буду век ему верна».

Чему верна? Каким обязанностям? Ведь она любит Онегина, а не своего старика-мужа? Да. Но она верна мужу, ее любящему, мужу – честному человеку. Она знает, что ее измена убила бы его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? (*Гром рукоплесканий и крики: браво!*). Нет, не такова природа русского человека, не таково сердце русской женщины, которая скорее готова жертвовать собственным счастьем для счастья ближнего. (*Рукоплескания*).

И так Пушкин отметил тип «скитальца наших дней» и высоконравственный тип русской женщины. Красоту своих типов он нашел у себя дома. И много их, величавых образов, отыскано поэтом в русской земле! Повсюду у Пушкина слышится вера в мощь русского духа, а коли есть вера, то является и надежда (*рукоплескания*). Такой веры, такого «простодушного умиления» перед народностью мы не встречаем у наиболее совершенных его последователей на литературном поприще. У современных нам писателей, за исключением разве одного, много двух, есть нечто высокомерное: «желание поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием». Благодаря Пушкину у нас проявилась вера в самостоятельное место в семье европейских народов.

В третий и последний период деятельности Пушкина, когда в его произведениях «засияли идеи всемирные», Пушкин являет нечто поистине чудесное, никогда более невиданное и неслыханное. Это необыкновенная всемирная отзывчивость поэта.

Европейский поэт перевоплощает в образы, свойственные его национальности, образы, заимствованные им у чужих поэтов. Пушкин же обладал замечательной способностью перевоплощаться в чужую национальность. В могуществе своего творчества он нередко вдохновлялся духом, вполне чуждым нашей исторической жизни, являясь, например, в одном из произведений чисто английским протестантом, суровым пуританином, проникнутым духом вражды к своим гонителям. Но именно здесь Пушкин является истинно русским человеком. В самом деле, что такое народность духа русского, как не стремление к человеческим всемирным идеям? (*Рукоплескания*). Стать настоящим русским – значит стать отзывчивым ко всему человеческому, стать «всечеловеком» (*оглушительные рукоплескания*). Так называемое у нас славянофильство и западничество есть одно только недоразумение (*рукоплескания и живейшие одобрения представителей славянофильства*). Не забудем также, что не силой меча и даже не силой науки, а по влечению духа братства вступили мы в общение с народами арийского племени (*дружные рукоплескания и громкие крики: браво!*).

«Внести в европейскую жизнь примирение, указать европейской тоске исход в братском согласии всех племен – наша, быть может, историческая будущность». (*Гром рукоплесканий, воодушевление публики возрастает*). Такой взгляд мог бы показаться самонадеянным, если бы речь шла о выполнении этой высокой задачи при помощи меча или науки, но речь идет лишь о силе духа братства, а к восприятию идеи всемирного братства сердце русское предназначено, быть может, более сердца всех других народов.

Приблизительно этими словами оратор закончил чтение по рукописи своей речи. Воодушевление слушателей достигло наивысшей точки. Громкие крики «браво!» и оглушительные рукоплескания не умолкали долгое время. Наконец все встали со своих мест. Женщины махали платками, мужчины шляпами. Наконец на эстраду вышел председательствующий и объявил, что по единодушному решению наличных членов «Общества любителей словесности», Федор Михайлович Достоевский удостоен избрания в почетные члены общества. Это сообщение было принято с восторгом и шумными овациями в честь новоизбранного, которому тут же был поднесен лавровый венок, в тот же вечер торжественно возложенный им на голову бюста Пушкина.

Заседание прервано в 3 часа 15 минут пополудни.

[Отчет 9 июня]

<...> Аксаков заявил, что хотел сказать несколько слов на тему, «так художественно, так гениально изложенную Ф. М. Достоевским», на тему мнимой розни между славянофилами, к которым его причисляют, и западниками (*рукоплекания*). Оратор считает речь Достоевского событием (*рукоплекания и крики: браво!*). «Благословенна же будет память поэта, объединившего нас на пути народной правды (*взрыв рукоплеканий и восторженные крики: браво!*). Значит (прибавляет он скороговоркой) и толковать об этом больше нечего». <...>

[Общий краткий отчет. 10 июня]

Мы радуемся возвращению к поэзии, говорил Тургенев, потому что поэзия есть «освободительная и возвышающая нравственная сила». Другие ораторы приветствовали в Пушкине не так художника, как

«... предтечу
Тех чудес, что, может быть,
Нам в расцвете нашем полном
Суждено еще явить».

Так говорил Майков, а Полонский с жаром чувствовал в поэте «друга свободы» и «политического мессии» русского народа. Академик Сухомлинов в прекрасно сказанной речи порицал ту тяжелую эпоху цензурного гнета, когда, по его словам, «какой-то злой демон изгонял истину из наших университетов и общества», «когда недосказанная правда казалась ложью и недосказанная ложь казалась правдой». В словах поэта он находит руководящий девиз наших передовых людей:

На поприще ума нельзя нам отступать.

«Возвращаться назад, – говорил Тургенев, заглушаемый громкими рукоплеканиями тысячной публики, – могут только отжившие и близорукие люди». По мнению Аксакова, даже после насилия над народностью, совершенного великим преобразователем России, «когда рукой палача совлекался с русского человека его национальный облик», и тогда даже возвращение вспять было нежелательно, но надобно было идти вперед и «завоевывать свободу народного духа». Пушкин, по словам оратора, сказанным на данном Думой обеде, и уполномочию от городского управления, «первый расторг свой плен, хотя только в области литературы». Но вместе с тем оратором выражено пожелание по поводу соединения представителей разных мест России для празднования «литературного народного торжества», чтобы это соединение было «началом дальнейшего», и «да проснется наконец наше народное самосознание!».

Никогда еще в стенах московского Благородного собрания и не от имени представителей высшего сословия, а по уполномочию от всесословного общественного учреждения не произносился такой решительный призыв к поднятию духа общественной самодеятельности. Это явление тем более ново и знаменательно, что оно имело место в присутствии министра народного просвещения, местных: командующего войсками, гражданского губернатора и других властей и лиц официальных, равно как и сословных представителей.

Несколько часов ранее в торжественном заседании в актовом зале университета ректор Тихонравов указал на социальное значение чествуемого поэта, «в котором в первом, под впечатлением событий 12-го года, пробудилось сознание, что выступает на историческое поприще новый герой – народ». Пушкин впервые сделал у нас достоянием поэзии «личность человека без различия общественного положения», был убежден, что политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян («Увижу ль я народ неугнетенный!») и сказал: «иди, куда влечет тебя свободный ум».

В том же духе и в том же направлении чувствовалась память поэта в гораздо более многочисленных и разнообразных (по образованию, возрастам и полам приглашенных лиц) собраниях, устроенных «Обществом любителей российской словесности».

Кроме вышеизложенных мыслей и взглядов в публичных заседаниях названного общества высказывалось:

- 1) что русскому народу чуждо понятие о сословности (Юрьев);
- 2) что существенной струной в лире Пушкина была свобода личная, общественная и государственная (Бартенев).

Высшего возбуждения настроение публики достигло во время речи Ф. М. Достоевского.

Этот оратор, имея в своем прошлом политические заблуждения, за которые понес тяжкое наказание, был принят публикой особенно сочувственно и остановил внимание слушателей преимущественно на двух типах поэзии Пушкина: Алеко и Татьяны, на типах так называемого им «нашего исторического скитальца» – и высоконравственной русской женщины. Первого из этих типов коснулся в своей речи перед университетским собранием и профессор Ключевский, скромно выразившись, что от этого типа, зародившегося двести лет тому назад, исходят в нашей общественной жизни «важные умственные и не одни только умственные движения». Достоевский же решительно указал, что личности, подобные Алеко, «бегут от нелепой жизни нашего интеллигентского общества, и если не уходят в цыганский табор, то зато уходят в социализм». По его мнению, наши скучающие люди, подобные Алеко и Евгению Онегину, могут найти исход гнетущей их тоске лишь в тесном сближении с народом. Татьяна никогда не пошла бы за Онегиным, потому что последний дышал воздухом большого петербургского света. Татьяна же задыхалась в атмосфере этого света и жила лишь воспоминаниями своей прошлой жизни в деревне, где она приходила в ближайшее соприкосновение с народом, «с его правдой». Иного выхода нет и для нашего интеллигентного общества, «остающиеся» члены которого «пристраиваются» к казне, к банкам или просто наживаются иным способом. «Как Татьяна не могла построить своего счастья на несчастье другого, так и истинно русский человек видит свое счастье лишь в счастье всего человечества. Стать истинно русским – значит стать братом всех людей, стать всечеловеком». «Внести примирение во враждующие между собой слои европейских обществ, указать исход европейской тоске в братском согласии всех племен – такова, быть может, наша историческая будущность. Достигнуть этого мы можем не силой меча и даже не путем науки, а лишь силой духа братства, к восприятию которого сердце русское из всех народов, быть может, наиболее предназначено».

Таковы идеи и цели прогресса, провозглашенные ораторами на торжествах, устроенных в Москве для чествования памяти Пушкина. Торжество открытия памятника поэту не было одним литературным торжеством, и оно не могло не оставить глубокого впечатления на умы как вполне созревшего, так и подрастающего поколения общественных деятелей. Так же точно впечатление высказанных идей и указанных ораторами целей едва ли может ограничиться средой непосредственных участников в торжестве или даже образованной частью населения одной только столицы. В отношении слушателей к произнесенным речам, конечно, более значения, чем даже в самих речах ораторов. Нельзя не заметить, что всё сказанное о пробуждении в обществе самосознания, о личной и политической свободе, об общественном равенстве, о братстве национальном и всемирном, о нераздельности стремлений к достижению личного счастья со стремлением установить социальное счастье всех народов и всех племен – всё это встречалось живейшим сочувствием и возбуждало всеобщий восторг, выражавшийся в шумных овациях, и тем более шумных, чем демократичнее были начала, проповедуемые с трибуны ораторами – представителями науки и литературы.

А. М. Барсукова

Москва, 10 июня 1880

Пишу вам под впечатлением глубокого, неотразимого чувства восхищения, которое произвела на меня несравненная речь нашего известного писателя-аналитика Достоевского. Я до сих пор не могу прийти в себя от возбужденного им во мне восторга и, мне кажется, всю жизнь не забуду того чувства умиления, которое я испытала во время произнесения его речи. Это была молния, прорезавшая воздух. Достоевский говорил вторым, а первым выступил Чаев. Не стану долго останавливаться на его речи, потому что в ней мало было интересного, скажу только, что Чаев говорил, надрываясь, торжественно-замысловатым языком, сравнивая Пушкина с тем сказочным богатырем-ребенком, которого злая тетка посадила в бочку вместе с матерью, засмолила бочку и бросила в море, но юный богатырь рос не по дням, а по часам и пробил дно бочки и вышел на волю. Так и Пушкин: как ни стесняли его свободу, мощный дух его всё креп и развивался. В конце Чаев помянул о жене Пушкина как о красавице, вдохновлявшей его на бессмертные творения, и привел стихи, его «Мадонну», писанные им вскоре после брака и полные благоговения к чудной красоте его жены. Когда Чаев кончил, на кафедру вошел Достоевский. На вид он очень непредставителен, маленький, плюгавенький; но, как только он заговорил, боже, какая прелесть полилась из уст этого невзрачного человека! Вы знаете, как он умеет глубоко заглядывать во все сокровенные изгибы души человеческой, и никогда еще Пушкин не был так глубоко анализирован, как это сделал Достоевский. Речь его произвела такой восторг, что многие плакали, махали платками, и все неистово, дружно рукоплескали. Мне рассказывал тут же Елпидифор Васильевич Барсов, когда я в конце заседания прошла в гостиную, где сидели все писатели, что один молодой человек, потрясенный речью Достоевского, бросился в эту гостиную его отыскивать, и когда ему показали Достоевского, слезы градом потекли по его лицу и он в нервном припадке упал на диван.

Я не могу передать вам всего существа речи и ограничусь только главным: Достоевский утвердил за Пушкиным имя народного поэта и также всемирного, приводя в пример его «Дон-Жуана», «Пир во время чумы» и «Египетские ночи». Он разобрал только два типа изображенные Пушкиным: *всемирного страдальца и скитальца Алеко*, повторенного впоследствии в *Евгении Онегине*, и тип *Татьяны*. Но что это была за сила и глубина! Недаром тут же Аксаков назвал очерк Достоевского гениальным. Достоевский говорил, что Пушкин ошибочно назвал свою поэму именем Евгения; ее следовало бы назвать по имени Татьяны, так как она главное здесь лицо. Какую дань уважения отдал он русской женщине. Русская женщина – не французская, она не побежит кое за кем. Татьяна – это самый чистый идеал русской женщины, который только повторился в Лизе – «Дворянское гнездо» (тут Достоевский поклонился в сторону Тургенева, и публика разразилась рукоплесканиями) – сразу отгадала пустоту и никуда негодность Онегина и не вышла бы за него замуж, если бы с ним встретилась вдовою, потому что знала, что он чувствовал влечение не к ней, а к ее внешнему блеску светской дамы. Задав еще ранее вопрос, отчего Татьяна, любя одного только Онегина, не изменила своему старому мужу и осталась ему верна, Достоевский прекрасно, много говорил на эту тему, доказав, что Татьяна построила бы свое счастье на чужом несчастье. А прочно ли такое счастье? – воскликнул он. И потому она не хотела покрыть позором и убить этого честного старика, который любил ее, верил ей безгранично и гордился ею, и пойти за человеком, которому она бы надоела на другой же день.

Когда Достоевский кончил, очередь была за Аксаковым, но после Достоевского Аксаков не хотел говорить и, наконец, побуждаемый публикой, вышел на трибуну и сказал приблизительно следующее: «Еще вчера можно было сомневаться, народен ли Пушкин, но после гениальной речи достоуважаемого Федора Михайловича все сомнения рушились, и я так потрясен

и очарован его речью, что не могу читать свою: она будет слабой тенью слышанного». Публика закричала ему «браво», и он все-таки должен был прочесть выдержки из своей речи. Читал он умно, дельно и в конце помянул доброю памятью русскую няню, русскую бабу, влиявшую так сильно на своего гениального питомца, и прочел очень прочувствованно стихи Пушкина к няне:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя и т. д.

Мне казалось, что другие не должны были бы читать после Достоевского, но заседание продолжалось. Плещеев продекламировал с чувством стихи, приличные торжеству, а Калачев и Анненков читали так, что я не слыхала ни одного слова. Я ушла в гостиную, куда удалились все писатели и ученые (исключая нашего Петра Ивановича, сидевшего одиноко за зеленым столом), и смотрела на Тургенева и Достоевского. Тургенев, белый как лунь, с свежим лицом и очень изящными манерами. Елпидифор Васильевич Барсов представил при мне Достоевского графу Уварову, но Достоевский очень холодно обошелся с ним, прервал его речь и удалился. Когда я вернулась в залу, говорил уже Петр Иванович, говорил мало, очень приятным голосом, но и только. В конце возгласил добрую память императору Николаю Павловичу, считавшему Пушкина умнейшим человеком в России и вызвавшему его из изгнания. Ему, по обычаю, немного похлопали. После Бартенева говорил Потехин, о Гоголе, которого Пушкин считал гениальным художником и говорил «что не успею сделать я, то докончит Гоголь». Потехин предложил от всего Общества российской словесности поставить Гоголю памятник на Никитском бульваре. Предложение его было принято с восторгом, и тут же состоялась подписка. Собрано в один день 4000 рублей. «Да будет Москва, – воскликнул с глубоким чувством Потехин, – центром русской литературной образованности».

Но что меня удивило, это то, что никто, ни единым словом, не упомянул о Лермонтове. Как будто его не существовало. Говорили о Жуковском, Карамзине, Дельвиге, Языкове, а о Лермонтове ни слова. В конце концов Достоевскому поднесен был громадный венок, по почину одной девицы Некрасовой, знакомой Алексея Егоровича Викторова. Венок был насильно надет на Достоевского.

В зале присутствовали сыновья Пушкина и старшая дочь. Я видела одного сына, командира полка, он разговаривал с министром народного просвещения. Ни одной фамильной черты отца и матери; простое, солдатской лицо, с рыже-белокурыми волосами. Тут же в собрании выставлены портреты жены и родных Пушкина. Жена снята масляными красками, уже потускневшими. Красивые классические черты лица, голубые глаза и каштановые волосы, но ничего нет симпатичного. Зато как прекрасно нарисованы акварелью мать Пушкина и мать его жены. Обе красавицы, но с милым выражением лица; сестра его, Павлищева, тоже очень хороша собой и необыкновенно мила, блондинка, с локонами за ушами. Кажется, я всё вам описала, памятника еще не видала, потому что у нас стоит холодная осенняя погода с мелким дождем, но как только установятся хорошие дни, непременно отправлюсь на Тверской бульвар и беру Сашу и Зину с собой, чтобы показать им памятник бессмертного поэта.

И. С. Аксаков

14 июня 1880 г. Троекурово

<...> Вступительная речь вице-председателя Чаева длилась вместо четверти полчаса, затем один из поэтов, Плещеев, упросил дать ему продекламировать, *пока публика не истощилась в овациях*. В этот же день должен был читать Достоевский (мы было так и разделились, зная сходство наших направлений), но, видя его нервное беспокойство, я предложил ему читать первому. Он и прочел, прочел мастерски, такую превосходную, оригинальную вещь, еще шире и глубже захватывающую вопрос о народности, чем моя статья, причем не в форме логического изложения, а в живых, реальных образах, с искусством романиста, и впечатление было поистине потрясающее. Я никогда ничего подобного не видел. Оно обхватило всех, как публику, так и нас, сидевших на эстраде, даже отчасти и Тургенева (они друг друга терпеть не могут). Успех Достоевского – истинное, многозначительное событие. Он совершенно потопил Тургенева и всех представителей его направления. До сих пор Тургенев был идолом молодежи, и во всех речах его публичных были всегда тонкие намеки либерально-неопределенного смысла, вызывавшие фурор. Он всегда тонко льстил молодежи, да и накануне еще, говоря о Пушкине, воздавал хвалу Белинскому, дал понять, что он и Некрасова очень любит и т. д. Достоевский же пошел прямо наперекор, представил, что Белинский ничего не понял в Татьяне, ткнул пальцем прямо в социализм, преподал молодежи целое поучение: «смирись, гордый человек, перестань быть скитальцем в чужой земле, поищи правду в себе, не какую-либо внешнюю» и т. д. Татьяну, которую Белинский, а за ним и все молодые поколения называли «нравственным эмбрионом» за соблюдение долга верности, Достоевский, напротив, возвеличил и прямо поставил публике вопрос: можно ли созидать счастье личное на несчастье другого?!

Важно именно то, как отнеслись к этому молодые же люди, которых, может быть, до тысячи было в зале. Всё пришло в такой экстаз, что один юноша, ринувшись к Достоевскому на эстраду, упал в нервный обморок. Тут были «курсистки» курса Герье (крайнего западника), еще в прошлом году делавшие овации Тургеневу. Бог знает где, тут же в собрании добыли они лавровый венок и поднесли его, при общих кликах, Достоевскому, за что им, вероятно, достанется... Надобно притом заметить, что Достоевский имеет репутацию «мистика», т. е. не позитивиста, а верующего человека, да он и тут помянул о Христе. Одним словом, торжество нашего направления в лице Достоевского было полное, и все речи людей так называемых 40-х годов показались дребеденью. Волнение было так сильно, что нужно было сделать длинный перерыв.

Между тем предстояло еще читать мне, Анненкову, Калачеву и Бартеневу. Я предлагал (так как было уже 4 часа) совсем закрыть заседание и совсем отказывался читать, признавая совершенно неуместным ослаблять впечатление публики и предпочитая распустить ее под этим впечатлением. Ведь это всё равно если бы после представления эффектной пьесы заставить публику слушать философское рассуждение, будь оно хоть первоклассного в мире философа.

Между тем публика, недовольная тем, что я всё откладывал свое чтение, стала кричать и требовать моего появления на кафедре. Я и взошел и импровизировал ей с одушевлением речь в таком смысле, что «едва ли чей восторг в зале по случаю чтения Достоевского равняется мой радости, что еще вчера стоял вопрос о народности Пушкина, еще вчера можно было спорить, сомневаться и нужно было доказывать, но теперь, слава богу, благодаря Достоевскому этот вопрос упразднен, и толковать о нем больше нечего. Поэтому читать свое рассуждение на ту же тему я считаю излишним. Речь Достоевского и впечатление, им произведенное, я считаю событием: в этой оценке, очевидно, сошлись люди всех направлений – и представитель так

называемого Славянофильского направления И. С. Аксаков, и представитель так называемого Западного И. С. Тургенев. Да будет же благословенна память нашего бессмертного великого поэта, всех нас объединяющего и призывающего всех равно к служению *истине* путем *правды народной!*». Петербургские газеты более или менее верно передали эту импровизацию, которая, конечно, прерывалась и покрывалась неистовыми рукоплесканиями, а когда я сошел с кафедры, криками: читайте, читайте! Крики были так упорны, что ломаться долее было неприлично, и я, взойдя снова на кафедру, объявил, что прочту, но только в отрывках, так как уже 4 часа. Публика кричала: «всю, всю!» Я спорить не стал, но ее не послушал и прочел только (но все же около получаса времени это заняло) несколько отрывков. Публика слушала благоклонно, внимательно, сильно рукоплескала в заключение и вынесла, сколько мне известно, убеждение, что этой статье следовало бы дать место предпочтительнее пред всеми статьями, кроме, разумеется, Достоевского.

Оваций в заключение чрезвычайных мне не было, но публике очень понравилось всё мое поведение и моя импровизация. Теперь, когда нервы несколько успокоились, начинают опять интересоваться моей статьей. Она появится, вероятно, в Пушкинском сборнике, который предпринял издавать Бартенев и которого первая часть (с моей статьей) скоро выйдет.

<...> Наши петербургские гости удивлялись упорству московского энтузиазма: трое суток, с утра до ночи, сидеть, слушать, восторгаться, заставляя повторять по несколько раз стихи, хлопать...

Так окончились эти шумные дни, замечательные еще и тем, что не произошло ни скандала, ни ссоры, никакого неприличия. Оба заседания общества открывались речами, в которых упоминалось с благоговением о покойной Императрице, о том, что этим горем, к сожалению, помрачена наша радость и пр. Можно положительно сказать, что на эти дни всякий нигилизм повыскочил из голов.

Пушкин действительно выяснился и очистился в нашем собственном сознании. Мы сами все, углубившись в него, можно сказать, впервые поняли его значение вполне. Отныне «игнорировать» его молодым поколениям будет нельзя. Народ, который постоянно толпился около памятника, сложил уже какую-то легенду об учителе, который пел и пел. До сих пор появляются свежие венки и цветы, неизвестно кем приносимые к подножию. А любить и понимать красоты Пушкинской поэзии – это несовместимо с кровавыми заговорами, стрельяньем из-за угла и т. п. Да и самый этот литературный собор был полезен литературе: авось она облагородится несколько. Одним словом, всё это вышло во благо.

М. А. Веневитинов

<...> На следующий день, 8-го июня, я несколько опоздал на утреннее заседание Общества любителей словесности, начавшееся в 2 часа, так как засиделся за завтраком в московском трактире с Кутузовым. Меня остановили у дверей залы, как накануне Сабурова, и я принужден был уважить по его примеру установленные правила. Впрочем, я немного потерял тем, что запоздал. Я вошел в залу, как только кончилась речь Чаева. Я добрался до своего излюбленного местечка, около красавиц, которые благодаря моим вчерашним указаниям сегодня менее ошибались в именах появлявшихся писателей. Первая часть заседания, в которой говорили, до Достоевского, [*зачеркнуто*: Я. К. Грот] Писемский и еще кто-то, прошла довольно вяло. За колоннами происходило движение, в зале был шум, и ораторов, на которых мало обращалось внимания, трудно было расслышать. Я сам занимался более разговором с моими соседками, которых красота была для меня в то время гораздо интереснее.

Но вот на кафедре появился Достоевский. Раздались восторженные и долго не смолкавшие рукоплескания. Затапали ногами, замахали платками. Долго Достоевский откланивался, долго стоял в зале гул восторга. Если б его взвесить или измерить, то на его стороне оказался бы значительный перевес против тех оваций, которых вчера предметом был Тургенев. Наконец шум улегся, и в зале сделалось так тихо, что, казалось, можно было расслышать полет мухи. Среди напряженного внимания публики Достоевский начал свою замечательную, теплую по чувству и глубокую по мысли речь. Не удалось Федору Михайловичу произнести свою речь безостановочно до конца. Богатое ее содержание, меткие, прочувственные выражения, новый по мысли разбор «Цыган» и «Евгения Онегина», тонкий анализ типа Татьяны – как идеала русской женщины, тройственное деление поэзии Пушкина и указание на ее общечеловеческое значение – все эти блестящие места речи невольно захватывали дух у слушателей своею глубиною и заставляли залу неоднократно прерывать оратора взрывами восторженных рукоплесканий. Особенно сильно раздавались приветствия публики в то время, когда Достоевский упомянул о невозможности русскому скитальцу успокоиться в пределах менее тесных, чем удовлетворение не одних народных, но всех общечеловеческих стремлений его души. Когда Достоевский наряду с именем Татьяны упомянул о подобном же мастерском воспроизведении идеала русской женщины в Лизе «Дворянского гнезда», то скромное и справедливое его признание заслуг со стороны его соперника в литературной славе и самый намек на этого соперника вызвали целую бурю рукоплесканий и в честь оратора, и в честь сидевшего под кафедрой Тургенева, который, видимо, был польщен и глубоко тронут внимательностью не столько публики, сколько автора «Братьев Карамазовых». По окончании речи оба писателя, несколько лет между собою не говорившие, – говорят, горячо между собою поцеловались.

Я особенно распространяюсь о впечатлении, произведенном речью Достоевского, потому что высказанные в ней взгляды произвели особенно сильное, самое поразительное из всех слышанных на пушкинском торжестве речей впечатление. Я объясняю это впечатление тем, что Достоевский сумел ясно и положительно сформулировать все те смутные и горячие мечты и стремления последних двух десятилетий со времени крестьянского освобождения, все те горячие надежды и упования, все те темные блуждания в вопросе о слиянии с народностью, которые долго составляли большое место нашей словесности и для выражения которых она тщетно силилась найти подходящие образы и слова. Поставить точку этим вопросам, найти в Пушкине значение звена в вековом ходе русской образованности, объяснить его влияние в смысле стяга, соединяющего под своею сенью борцов прошедшего с борцами настоящего и будущего, – вот в чем, по моему мнению, заключается несомненная заслуга речи Достоевского, речи, названной, как увидим далее, Иваном Сергеевичем Аксаковым «цельм событием». На меня лично эта знаменитая речь имела такое влияние, что под впечатлением ее я простил сразу Петру

Великому всю его насильственную реформу. Мне представилось, что Петр не рассек ударом топора Россию древнюю от России новой на две отчужденные друг от друга половины, а только больно наказал нас своею дубинкою, наказал не по мертвому, а по живому мясу, до кровавых рубцов; мне представилось, что наша задача должна состоять не в сращивании двух половин, даже вовсе не разрубленных, а лишь в заживлении [*зачеркнуто*: следов казни на наших] наших постыдных язв на следах наказания, мешающих нам доселе твердо сесть в сонм европейских наших соседей. И нельзя винить Петра Великого за суровость его приемов, если припомнить, что недалеко то время, когда в кадетских корпусах и семинариях производилось субботнее *ученье* в зачет будущих прегрешений, и если посмотреть на русский наш народ, который до сих пор не понимает любви без кулаков и плетки.

Но овации Достоевскому не кончились с его речью. Члены Общества любителей, горячо поздравив его на эстраде рукопожатиями и лобызаниями, тут же, не сходя с места, провозгласили его почетным членом своего общества. Во время раздавшихся по этому поводу аплодисментов через залу к эстраде потянулась вереница дам, с трудом пробирававшаяся чрез столпившуюся в проходе между кресел публику и предводительствуемая большим зеленым венком с яркими лентами. Это были слушательницы педагогических курсов. Их допустили на эстраду, затем далее на сцену, где они под самым бюстом Пушкина при криках и топоте и махании платков всей залы возложили свой венок на Достоевского, под самым бюстом Пушкина, и несколько времени держали его над ним. Глубоко потрясенные всем слышанным и виденным, разошлись мы все из залы по соседним комнатам по случаю возвещенного десятиминутного перерыва заседания. Многие даже разъехались, так как от предстоящих ораторов уже нечего было ожидать после речи Достоевского.

В курительной и соседних комнатах только и слышались что восторженные отзывы о только что совершившемся торжестве Достоевского.

Между прочим, я встретился с Ольгой Алексеевной Новиковой, которая неизменно мелькала передо мною на всех утренних и вечерних собраниях Общества любителей. С ней разговаривала стоящая подле дама с депутатским значком на плече. Дама эта оказалась Анна Михайловна Евреинова, доктор прав, председательница одного из отделений Московского юридического общества. Я с ней раз встретился в прошлую осень на вторник у А. И. Кошелева. Она поздоровалась со мною как старая знакомая, и мы вступили с нею в разговор по поводу всего того, чего мы были свидетелями и участниками в эти 3 дня. Я ей пожаловался на Тургенева, на его вчерашнее поведение; на те места его речи, в которой он явно кадил молодежи намеками на Писарева и Добролюбова; на тост, предложенный им за обедом в честь иностранцев, в сущности, не стоивших никакой благодарности со стороны России; на его стремление к популярности, неразборчивое ни пред Европой, ни пред Россией; на его отчужденность от отечества и на неприятные черты, поражающие в его усилиях изображать собою тип заграничного русского, притом русского писателя. А где именно может быть глупее положение такого писателя, как не за границею. Но особенно был я зол на Тургенева за бессмысленный апофеоз Пушкина и на выбор для чтения его стихотворений, служащих к прославлению не столько их автора, сколько чтеца. Я противопоставлял, в разговоре с Евреиновой, скромность, простодушие и глубину Достоевского и закончил нашу беседу указанием на то, что борьба между двумя современными писателями сегодня уже разрешилась в пользу того из них, кто дорожит связью с народом для жизни своего идеала, а не для корыстолюбивых целей тщеславия, питающегося воспоминаниями о заслугах своего прошлого. Указание мое, надеюсь, оправдается – слава Достоевского-мыслителя превзойдет славу Тургенева-эстетика. Но насколько я убедил Евреинову, я не знаю, она, по крайней мере, соглашалась со мною. Впрочем, до ее убеждений мне было всё равно, мне нужно было перед кем-нибудь излить свои чувства по поводу Тургенева. Хотелось высказаться и перед Кутузовым, но с ним я не был

согласен во мнениях о названных двух писателях, да к тому же и Кутузова я не нашел... Подвернулась случайно Евреинова и выдержала, бедная, весь удар моей грозы на Тургенева.

Настроение публики под впечатлением речи Достоевского всё еще было несколько возбужденное, когда зала снова наполнилась по звонку, возобновлявшему заседание. Ораторы, говорившие во второй части, принесли явную жертву своей добросовестности. Речи их, несмотря на все внутренние достоинства, на всё красноречие, напр<имер> Аксакова, уже не могли не бледнеть после глубоких мыслей и чувств, высказанных Достоевским. <...>

В. О. Михневич

<...> Я имел случай видеть наглядно, каким неотразимым, обаятельно могущественным влиянием пользовался Достоевский в современном обществе несмотря на то, что известная, может быть, значительнейшая часть общества вовсе не симпатизировала некоторым его тенденциям, которые он с особенной настойчивостью стал проводить в своих последних произведениях. Но волшебной силе гениального таланта покоряется всё...

Это было в прошлом году, в Москве, в достопамятные дни пушкинского праздника. Съезжалась тогда в Москву вся соль русской земли; чествовали память великого поэта отборной прозой и звучными стихами избраннейшие корифеи и знаменитости литературы – патентованные любимцы публики; много хороших слов и светлых мыслей было высказано ими у «бронзовой хвалы» поэту; много и громко одобряла всех их публика.

Но вот взошел на кафедру невзрачного вида, тощий, согбенный человек, с изжелта-пергаментным, сухим, некрасивым лицом, с глубоко впавшими глазами под выпуклым, изборожденным морщинами лбом. Взошел он как-то застенчиво, неловко и, сгорбившись над пюпитром так, что голова его едва виднелась слушателям, раскрыл тетрадку и начал читать слабым, надорванным голосом, без всяких ораторских приемов, как если бы он собрался читать для самого себя, а не перед огромной аудиторией... Менее импозантной фигуры, менее представительности и эффектности в приемах, в манере чтения и в самом складе прочитанного нельзя было бы придумать. Наоборот – можно было бы заподозрить, что здесь простота и непретенциозность доведены до степени своеобразного щегольства, хотя, конечно, ничего преднамеренного тут не было...

Началось чтение, с первых же строк превратившее всю аудиторию в олицетворенный слух и напряженное внимание, так что слабый голос чтеца внятно раздавался во всех концах громадной залы. Публика слышала удивительные по своей оригинальности мысли, мысли спорные, в основании своем неверные, но проникнутые такой искренностью и глубиной убеждения, согретые такой теплотой чувства и развитые с такой гениальной художественностью, перед чарующим обаянием которых устоять было невозможно самому предубежденному слушателю. Когда чтение кончилось, вся зала дохнула каким-то вздохом одной исполинской груди, до глубины потрясенной благородным экстазом любви и мира; вся зала, как один человек, разразилась такой восторженной хвалой вдохновившему ее чтецу, перед которой побледнели все прежние хвалы и овации другим ораторам... Чтец этот был Ф. М. Достоевский. Ничего подобного впечатлению, произведенному тогда его чтением на публику, ничего подобного той овации, которая ему тогда была сделана, я никогда не видел и, быть может, никогда больше не увижу... <...>

М. М. Ковалевский

<...> Слово, сказанное Тургеневым на публичном заседании, устроенном в память Пушкина, по содержанию своему было рассчитано не столько на большую, сколько на избранную публику.

Не было в нем речи ни о русском человеке как «всечеловеке», ни о необходимости человеку образованному смириться пред народом, перенять его вкусы и убеждения. Тургенев ограничился тем, что охарактеризовал в нем Пушкина как художника, отметил редкие особенности его таланта, между прочим, способность брать быка за рога, как говорили древние греки, то есть сразу, без приготовления приступить к главной литературной теме. Не ставя Пушкина в один ряд с Гете, он в то же время находил в его произведениях многое, достойное войти в литературную сокровищницу всего человечества. Сказанное им было слишком тонко и умно, чтобы быть оцененным всеми. Его слова направлялись более к разуму, нежели к чувству толпы. Речь была встречена холодно, и эту холодность еще более оттенили те овации, предметом которых сделался говоривший вслед за Тургеневым Достоевский.

Выходя из зала, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому; в числе их были и дамы. Одна из них в настоящее время живет вне России по политическим причинам. Дама эта оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: «Не вам, не вам!» <...>

Н. Н. Страх

<...> Едва ли удастся мне, но очень хотелось бы изобразить то необыкновенное возбуждение, которое овладело всеми деятельными участниками торжества. Они волновались и напрягались, как борцы, которым предстоит победа или поражение. Рукоплескания публики, смотревшей на них с уважением и постоянно готовой к восторгу, поддерживали их оживление и силы. Мне встретились две дамы, приехавшие из Петербурга, большие поклонницы просвещения и литературы; они горько жаловались, что просто не узнают знакомых им литераторов: так они стали надменны и заняты лишь собою, своим участием в празднике.

Настоящее состязание и действительная литературная оценка Пушкина должны были начаться 7 июня, в первом публичном заседании нашего «Общества». В этот день, среди других речей, должен был читать свою речь Тургенев, а потом Аксаков, т. е. оба представителя противоположных направлений. Но так как заседание затянулось за множеством речей, стихов, вызовов и т. д., то успел читать один Тургенев. Его речь, разумеется, была встречена и провозглашена громкими, восторженными рукоплесканиями. Но между литераторами поднялись оживленные толки о мыслях, высказанных в этой речи, и обнаружилось даже прямое желание как-нибудь возразить на нее и дополнить ее. Иначе и не могло быть в «Обществе», заключавшем в себе так много славянофильствующих писателей. Главный пункт, на котором остановилось общее внимание, состоял в определении той *ступени*, на которую Тургенев ставил Пушкина. Он признал его вполне самостоятельным поэтом, «великолепным русским художником». Но он ставил еще другой вопрос: есть ли Пушкин поэт *национальный*? Национальным, по мнению оратора, может быть назван только поэт великий и всемирный, потому что если поэт вполне выражает дух своей нации, то он тем самым есть великий поэт, а потому вместе и всемирный поэт, вносящий свой вклад в сокровищницу человечества. Так поставил оратор вопрос, но поставил только затем, чтобы отказаться отвечать на него. «Мы не решаемся, – сказал он, – дать Пушкину название национально-всемирного поэта, хотя и не дерзаем его отнять у него». Эти слова возбудили большие толки, некоторые из сочленов собирались даже обратиться к Тургеневу с вопросом о причинах его нерешительности, потому что в своей речи он ничего не сказал о том, почему не решается утверждать, ни о том, почему не осмеливается отрицать национальное значение Пушкина. Много говорили также о тех рассуждениях Тургенева, в которых он старался показать историческую необходимость порицаний и глумлений над Пушкиным, долго происходивших в нашей литературе и едва недавно затихших. Оратор упоминал также, что *муза мести и печали* имела свои права на внимание и естественно отвлекла умы от великого поэта.

Всё это и другое подобное было иным не совсем по душе. В группе деятельных участников торжества пронеслось чувство некоторой неудовлетворенности, даже прямой досады. Одни критически разбирали слова Тургенева; другие, которым самим приходилось читать на следующий день, надеялись выразить мысли, ниспровергающие тургеневские замечания; кто-то успел написать даже насмешливые стихи – конечно, не для публичного чтения. Но то, что случилось на другой день, превзошло все ожидания и расчеты. По порядку следовало бы читать сперва Аксакову и потом Достоевскому; но, не знаю по какой причине, решено было, что Достоевский будет читать в первую половину заседания, а Аксаков во вторую (эти половины разделялись маленьким антрактом); эта перемена порядка оказалась важнее, чем сперва думали сами ораторы. Как только начал говорить Достоевский, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писанному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине. То одушевление и естественность, которыми отличается слог Достоевского, вполне передавались и его мастерским чтением.

Разумеется, главную силу этому чтению давало содержание. До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голос: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!» Такое нравоучение вывел Достоевский из «Цыган», с которых начал свою характеристику, как с произведения уже полного глубокой и вполне русской мысли. Потом под тот же тип скитальца, оторванного от родной жизни, он подвел лицо Евгения Онегина, превознес удивительными похвалами Татьяну, с большою яркостью изобразил пушкинское понимание чуждых национальностей (на «Пире во время чумы», на «Каменном госте», на отрывке: «Однажды странствуя среди долины дикой») и заключил той мыслью, что в Пушкине ясно сказалась русская *всеобъемлющая* душа, что поэтому его поэзия пророчит нам великую будущность – предвещает, что в русском народе, может быть, найдут себе любовь и примирение все народы земли.

Здесь я хочу не разбирать или излагать эту речь, хочу только *напомнить* ее содержание читателям для связи, для порядка рассказа. Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем. Толпа, давно зарядившаяся энтузиазмом и изливавшая его на всё, что казалось для того удобным, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стих, эта толпа вдруг увидела человека, который сам был весь полон энтузиазма, вдруг услышала слово, уже несомненно достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всею душою в восхищение и трепет. Мы тут же все принялись целовать Федора Михайловича; несколько человек зрителей, вопреки правилам и загородкам, стали пробираться из залы на эстраду; какой-то юноша, как говорят, когда добрался до Достоевского, упал в обморок.

Восторг толпы заразителен. И на эстраде, и в «комнате для артистов», куда мы ушли с эстрады в перерыв заседания, все были в радостном волнении и предавались похвалам и восклицаниям. «Вы сказали речь, – обратился Аксаков к Достоевскому, – после которой И. С. Тургенев, представитель западников, и я, которого считают представителем славянофилов, одинаково должны выразить вам величайшее сочувствие и благодарность». Не помню других подобных заявлений, но живо осталось в моей памяти, как П. В. Анненков, подошедши ко мне, с одушевлением сказал: «Вот что значит гениальная, художественная характеристика! Она разом порешила дело!»

Кстати, замечу здесь один маленький случай, очень характерный. В первой половине своей речи, говоря о пушкинской Татьяне, Достоевский сказал: «Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе – кроме разве образа Лизы в “Дворянском гнезде” Тургенева...». При имени Тургенева зала, как всегда, захохотала от рукоплесканий и заглушила голос Достоевского. Мы слышали, как он продолжал: «...и Наташи в “Войне и мире” Толстого». Но никто в зале не мог этого слышать, и он должен был остановиться, чтобы переждать, пока утихнет вновь и вновь подымавшийся шум. Когда он стал продолжать речь, он не повторил этих заглушённых слов и потом выпустил их в печати, так как они действительно не были произнесены во всеуслышание. Такова была горячка этого заседания, и так горячо шла внутренняя борьба в публике и в представителях литературы.

<...> В конце заседания на эстраде вдруг появилась группа дам, они принесли огромный венок Достоевскому. Его упростили взойти на кафедру, сзади его, как рамку для головы, держали венок, и долго не смолкали рукоплескания всей залы.

Таким образом, Достоевский был чествуем как герой этого дня. Все чувствовали себя довольнее, все, очевидно, были благодарны ему за то, что он разрешил наконец томительные ожидания, дал всему празднику содержание и цвет. Поэтому публика уже не упускала его из виду и осыпала его наиболее громкими знаками одобрения. День этот, последний день торжества, кончился литературно-музыкальным вечером, на котором и Достоевский читал некоторые стихотворения Пушкина. Всего значительнее было чтение стихотворения «Пророк».

Достоевский дважды читал его, и каждый раз с такой напряженной восторженностью, что жутко было слушать. Зная его, я не мог без невольной жалости и умиления видеть его истощенное маленькое тело, охваченное этим напряжением. Правая рука, судорожно вытянутая вниз, очевидно, удерживалась от напрашивающегося жеста; голос был усиливается до крика. Чтение выходило слишком резким, хотя произношение стихов было прекрасное. В этом отношении я вполне разделял вкус Достоевского, любившего напирать на музыкальность, на ритм стихов – разумеется, без нарушения естественности. При конце жизни он достиг в таком чтении удивительного мастерства и любил читать и перед публикой, и в частных кружках.

Этот второй и последний вечер заключился, как и первый, увенчиванием бюста Пушкина на сцене, на которую выходили для этого все исполнители. В первый вечер венок был возложен Тургеневым, в последний – Достоевским, которого при всех пригласил к тому сам же Тургенев.

Этим и кончился весь праздник. Замолкли последние восторженные рукоплескания, и мы разошлись, утомленные и довольные.

Итак, вот что случилось на пушкинском празднике. Когда на другой день я уже катился в вагоне, мне ясно представился весь ход этих событий. Очевидно, западники и славянофилы были тут равно побеждены; славянофилы должны были признать нашего поэта великим выразителем русского духа, а западники, хотя всегда превозносили Пушкина, тут должны были сознаться, что не видели всех его достоинств. И вот на этом мирном состязании обе партии радостно признали себя побежденными.

Но кто же победил? К какой партии принадлежит Достоевский? Как известно, он любил примыкать к славянофилам; но для меня, как для давнишнего сотрудника журналов, было несомненно, что он не есть прямой славянофил, или, по крайней мере, что не из славянофильства он почерпнул то восторженное поклонение Пушкину, которое так блистательно выразил и которое дало ему победу. И я вспомнил с большою живостью ту партию, к которой он принадлежал. Ее можно назвать *чисто литературною*, или, пожалуй, *пушкинскою*, наконец, просто *русскою*. Она всегда сильно тяготела к славянофильству, но не выставляла резких положений и законченных общественных теорий и потому никогда не успевала добиться такого внимания публики, каким пользовались западничество и славянофильство. Она постоянно проповедовала величайшую любовь к художественной литературе, придавала ей почти первенствующее значение в духовной жизни народа, а потому, можно сказать, благоговела перед Пушкиным как перед главным явлением нашей литературы. Она, эта партия, уклонялась от подражательности западничества и всегда видела в современной русской жизни больше внутреннего содержания, чем его находило исключительное славянофильство, а также всегда менее славянофильства чуждалась жизни иных народов. Вот такая партия победила на пушкинском торжестве. И я вспомнил моих покойных знакомых, Аполлона Григорьева, тоньше и глубже которого у нас никто не объяснял Пушкина, вспомнил восторженные речи и благородные фигуры Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова и других. От этой *молодой редакции* погодинского «Москвитянина» я перешел памятью к другим покойным журналам, к первому году «Русского слова» (1859), ко «Времени» и «Эпохе» (1861–1865), выходившим под главным руководством и при главном участии Достоевского и поместившим лучшие статьи Аполлона Григорьева, и, наконец, к «Заре» (1869–1872), старавшейся сохранить и поддержать предания этой школы. В самой речи Достоевского и даже в его чтении пушкинских стихов я невольно узнал столь знакомые мне дух и приемы школы, к которой сам принадлежал, дух и приемы, только возведенные в перл создания.

Итак, то, что случилось, было естественно и неизбежно. На пушкинском торжестве должна была одержать верх та партия, которая во всё продолжение последних тридцати лет питала и исповедовала поклонение Пушкину, и Достоевский, самый важный и деятельный представитель этой партии, должен был получить венок первенства, как то, что ему принадлежало по всем правам и заслугам.

Надеюсь, я верно рассказал историю, которой был свидетелем. Другое истолкование едва ли возможно ей дать – и из моего рассказа, может быть, станет понятно читателям, почему я испытывал большую радость. Всё еще исполненный торжественным волнением праздника и мыслями о его значении, я повторял про себя милые слова А. Н. Островского, сказанные им на обеде 7-го июня: «Будем веселиться – сегодня на нашей улице праздник!» Чем кто больше любил русскую литературу, и следовательно Пушкина, тем больше ему и досталось радости на этом торжестве.

Но на речь Достоевского и можно, и следует взглянуть еще с другой стороны. Зажигающее действие этой речи много зависело от того, что на ней лежит печать особенного настроения, свойственного Достоевскому. Именно тут сказалась его широкая способность всему симпатизировать, его умение примирять в себе, по-видимому, несогласимые настроения, его стремление ничего не отвергать, ничего не исключать безусловно и оставаться верным в любви к тому, что раз он полюбил.

Можно вообще сказать, что с него можно брать пример в двух отношениях: он не только может быть образцом истинного консерватора, но и образцом того, как следует нам держать себя в отношении к тому, с чем мы враждуем, что считаем ложным и гибельным. По направлению, по духу он самый широкий из современных писателей, и потому естественна его любовь к самому широкому из наших гениев, к Пушкину.

Консерватизм, патриотизм часто понимаются как нечто узкое, тупое, глупое. Так оно, конечно, нередко и бывает, потому что это душевное настроение свойственно огромным массам людей, а умы людские вообще слабы и ограничены. Но это не относится к существу дела, точно так, как, например, глупые ученые или глупые книги, встречающиеся так часто, не составляют возражения против учености и книг вообще. По сущности же, может ли что быть естественнее и правильнее, чем любовь к тому, что нас окружает, и желание сохранить то, что мы любим? Мы и любить учимся на людях близких к нам, и понимать на том умственном содержании, которое сообщается нам сначала. Сердце чуткое, ум чуткий постепенно открывают и усваивают положительную сторону окружающей жизни, то добро, тот свет ума, ту красоту, которые составляют главный нерв всякого человеческого существования, без которых это существование невозможно. А раз что-нибудь полюбивши, раз что-нибудь понявши, глубокая натура уже не забывает этого потом, уже не может этого выкинуть из себя как ненужный сор. Таким образом процесс самый простой и обыкновенный может достигать в одаренных людях самого высокого значения. Люди, мало способные к консерватизму, легко и без следа отвергающие те чувства и мысли, которые некогда в них жили, очевидно, свидетельствуют этим о малой своей чуткости, о слабости своей сердечной памяти. Они обыкновенно увлекаются своею энергиею, и в ней заключается их оправдание; но зло непонимания, презрения, насилия неизбежно примешивается к их деятельности и часто искажает дела, совершаемые во имя благороднейших целей.

Достоевский был консерватором по натуре. В нем сильно, но быстро совершился тот процесс, которым почти неизменно характеризуется развитие всех значительных русских писателей: сперва они увлекаются отвлеченными мыслями, идеалами, заимствованными с Запада, потом возникает внутренняя борьба и разочарование и, наконец, – пробуждаются лишь на время подавленные чувства, любовь к родной святыне, к тому, чем жива и крепка русская земля. У каждого бывает минута возрождения, когда он говорит вместе с Пушкиным:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней.

Но, отказавшись от искания на Западе высших руководительных начал, Достоевский сохранил любовь и уважение к духовной жизни Европы. Да и у нас среди разлива того крайнего западничества, которое называется нигилизмом, он умел видеть корень и этих извращенных стремлений, умел понимать и жалеть и эти заблудшие души. Этот взгляд, находящий возможность выхода и примирения, эта тонкая и широкая симпатия, обнимающая оба полюса нашей умственной жизни и ищущая соединения их в некотором высшем начале и деле, – есть прекрасная и характерная черта Достоевского. Его вражда, такая горячая и волнующаяся, никогда не была безусловным отвержением. *Покаявшийся нигилист* – вот тема, которую он любил, на которую написано «Преступление и наказание» и которая отзывается во всех последующих его произведениях. Понятно, почему он имел такую привлекательность для молодых людей, почему на многих из них он успевал производить самое благотворное действие. Та же самая черта примиряющей симпатии обнаружилась и на Пушкинском празднике. Он нашел формулу, которая объединяла стремления западников и славянофилов, направляя их к общей высшей цели, естественно, что восторг овладел в эту минуту давнишними противниками, и они искренно подали друг другу руки.



Хороший был праздник, и очень торжественный, и очень содержательный. Вернувшись с него, я тогда смело написал: «Статуя и торжество, конечно, много будут содействовать увековечению имени Пушкина». Теперь, через восемь лет, я бы этого никак не сказал. И монумент, и праздник уже кажутся мне очень незначительным делом для имени, которому выпала на долю действительная слава.

Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий.

Не мы Пушкину устроили памятник и праздник; скорее он их для нас устроил, он дал нам три дня чистого воодушевления, зажег в нас, хоть на время, искру лучшего существования.

И вообще, наши права и заслуги в рассуждении памяти Пушкина, мне кажется, еще очень невелики, и мы лучше сделаем, если будем помнить о своих обязанностях. <...>

Г. И. Успенский

<...> Но никто не подозревал, чтобы эта же «современность» могла завладеть всем существом, всей огромной массой слушателей, наполнявшей огромный зал Дворянского собрания, и что это совершит тот самый Ф. М. Достоевский, который всё время «смирнехонько» сидел, притаившись около эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке.

Когда пришла его очередь, он «смирнехонько» взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. <...>

И. Ф. Василевский

<...> Чтения происходили в Дворянском собрании. Старинная и типичная зала с колоннами, хорами, зала торжественная и безличная, без солнца не особенно светлая и потому для глаз очень покойная, отлично располагающая в меланхолической атмосфере своего прошлого к сосредоточенности и раздумью, была убрана скромно и просто. В глубине ее, под эстрадою, возвышался бюст Пушкина на фоне венков и гирлянд; у бюста стояла кафедра. Эстраду занимал длинный, покрытый красным сукном стол, за которым сидели члены общества. На этой эстраде, за этим столом, в эту минуту помещалась вся слава и гордость русской литературы. Никогда и нигде, ни до, ни после этих «чтений» у нас не было такого блестящего, исторически знаменитого собрания писательских светил первой величины. Здесь были налицо чуть не все авторы, составляющие хрестоматию новой и новейшей русской литературы. Здесь были корифеи и могикане литературной производительности пятидесятих и шестидесятих годов, создатели и проводники новых идеалов, новых течений, новых гуманитарных и художественных требований, новой манеры письма, новых красок, нового языка; здесь были лучшие общественные люди, наиболее заслуженные писатели, имена которых сияли в литературе и произносились в обществе как магические слова. Для очень многих было счастьем, навсегда в жизни достопамятным моментом подойти к ним, видеть их, слушать их. Председательское место занимал покойный С. А. Юрьев, уже белый старец, живой и приветливый, руководивший заседаниями с академическим навыком и тактом, с изысканною любезностью и предупредительностью. Его ясное, открытое лицо светилось чувством великого и редкого внутреннего удовольствия. Тут же сидели: коренастый, широкоплечий, богатыря собою напоминавший Аксаков, цветущий и в старости бодростью и мощью своего пламенного темперамента, – коренной русак московской складки с светлыми пронизательными и тонкими глазами в золотых очках, великолепный трибун, уверенный и в своем таланте, и в своей популярности; несколько согбенный, развинченный докучливыми нервными недомоганиями Тургенев, с лицом усталым, но с взглядом выразительным и ярким, полным оживления и любопытства, радости и торжества; он чувствовал и видел, что все его признавали первенствующим в этой компании. Тут же можно было видеть очень тучного, страдавшего одышкой, на вид осунувшегося и вялого Писемского; ему было всё время жарко и он кашлял коротким и частым кашлем с флегматическим хрипом; худого, пергаментно-желтого, скрюченного болезнью Достоевского; впалые щеки горели у него лихорадочным румянцем, губы были сухие, потрескавшиеся, глаза, впалые и тусклые, глядели, как будто никого и ничего не замечая, куда-то вдаль, в глубь отвлеченной мысли и испытующего страдательного чувства; лицо у Достоевского было неподвижное, суровое и серьезное – лицо аскета или покойника. Тут же сидели благодушный и благожелательный, всеми довольный Островский; молчаливый Майков с широко по близорукости открытыми и вперенными глазами; старый романтик и в позах, и в движениях, и в декламации Яков Полонский; величественно красивый, с типичною наружностью длиннокудрого поэта Плещеев, профессор Тихонравов и др. <...> В зале в первом ряду кресел заняли места первые гости на московском празднестве – дети Пушкина. Они съехались все. Их было четверо: две дочери поэта и два сына. Одна из дочерей, как известно, была замужем, под фамилией графини Меренберг, мorganатическим браком за одним владетельным немецким князем; она держала себя с аристократической церемонностью и обособленностью; это была дама очень высокого роста, по возрасту – на склоне от средних лет к пожилым годам; ее меньшая сестра, довольно близко напоминавшая свою мать, Наталью Николаевну Пушкину, была замужем за генералом Гартунгом. Старшему сыну поэта, Александру Александровичу Пушкину, кавалерийскому полковнику, командиру Нарвского гусарского полка, было тогда под сорок. Высокого роста худощавый брюнет, он значительно менее походил на своего отца, чем его брат Григорий Александрович Пушкин,

помещик, владелец Михайловского. Публика вообще находила, что по наружности все дети поэта более напоминают мать, чем отца. В первых рядах кресел сидели и петербургские делегаты: академик Сухомлинов, С. В. Максимов, Краевский, Вейнберг, Гаевский, Кони, Таганцев, Суворин, Г. З. Елисеев, Стояновский и др. <...>

Наконец пришел момент – это было уже на втором «чтении» – и для кульминационного подъема энтузиазма публики. Зала была переполнена. Особенно много собралось, несмотря на вакационное время, молодежи. Она заняла хоры и все переходы. В креслах теснились как могли, так что на двух стульях сидело трое лиц. Пришла очередь Достоевского. Он взошел на кафедру взволнованный и бледный. В нем чувствовался вдохновенный, воинственно настроенный проповедник и фанатик, беззаветно верующий в себя, в свою миссию и свои откровения. Орган у Достоевского был от природы слабый, жидкий, но читал он, подобно Писемскому и Островскому, прекрасно – плавно и весьма выразительно. Зала вся ушла в слух и замерла. Разобрав деятельность Пушкина по периодам (трем) и с удивительной мощью анализа и проникновения осветив фигуры Алеко (в «Цыганах»), Евгения Онегина – тип русского скитальца, мучающегося мировую тоскою, которому, чтобы успокоиться, нужно всемирное счастье, и Татьяны как «апофеоза русской женщины», Достоевский высказал, что Пушкин в третьем периоде своего творчества явился даже чудом. «В европейской литературе нет гения, который обладал бы такою отзывчивостью к страсти всего мира». Пушкин обладает этим даром, и в этом заключается его высокое значение как русского народного поэта. «Всемирность, общечеловечность – цель русской народности; стать русским – значит, в конце концов, стать братом всех людей, *всечеловеком*. Историческое призвание России – изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля – нищая в экономическом отношении, но почему же не ей суждено сказать последнее, наивысшее слово истины?..»

Этот финал покрыт был невиданною у нас, беспрецедентною овацией. С уверенностью можно было сказать, что стены залы московского Благородного собрания никогда не оглашались такими рукоплесканиями. То, что произошло в наэлектризованной публике, трудно описать. Все вскочили с мест. Писатели, окружив лектора, лобызались с ним. Публика со всех сторон неудержимо рвалась к Достоевскому. Девушки в состоянии, близком к истерике и экстазу, плакали, хватили Федора Михайловича за руки, целовали их. Все точно проснулось от какого-то волшебного сна, сполна завладевшего всем существом духа, и смотрели друг на друга с недоумением и умилением. Дальше идти в выражении оратору наибольшего восторга, в желании и намерении слиться с ним воедино было некуда. Достоевский стоял у кафедры недвижно, как изваяние. По-видимому, он не думал и не ждал, что так сильно всколыхнется это человеческое море. Очень взволнованный и очень бледный, счастливый и точно испуганный, он смотрел застывшим, неподвижным, действительно «внутренним» взором, который, казалось, никого не видел, ничего не замечал. Худошащая костлявая рука его медленно растирала лоб, на котором выступили капли нервного пота...

А. Ф. Кони

<...> Три дня продолжались празднества и растроганное настроение так или иначе причастных к ним, причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в этот день, конечно, с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово, когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преобразился, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим «Как весенней раннею порою» и декламирующим пушкинского «Пророка», нельзя было предвидеть того полного преобразования, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были сказаны им прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собою руку и как бы держа в ней что-то, сказал дрожащим голосом: «И сердце трепетное вынул!» – Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызвала при произнесении. Содержание ее, в свое время, дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда, *тогда*, в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского собрания, перед нервно настроенной и восприимчивой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в это время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах будучи наглядеться на бронзовое воплощение «властителя дум» и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непререкаемую славой русского народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его «судьбой отсчитанных дней» пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжелых страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. Он вырос на эстраде, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое всё росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде, и какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно! Так, вероятно, в далекое время умел действовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел пред продолжавшею волноваться публикой и, назвав только что слышанную речь событием, заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже и иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в Парижском университете, Луи Леже, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь

находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме au Maître², т. е. Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с Достоевским. <...>

² Мэтру (*франц.*).

А. М. Сливицкий

<...> Событием была речь Достоевского. Уже при его выходе зала как бы наэлектризовалась. Творец «Мертвого дома» стоял бледный, согбенный, с опущенными руками, а зал содрогался от рукоплесканий в течение нескольких минут. Наконец всё смолкло, и он начал читать...

Не бывшие на заседании и познакомившиеся с его речью в чтении уже и тогда высказывали удивление, почему она произвела такое потрясающее впечатление, доведшее нескольких девиц и студентов до истерики, так что всё в зале смешалось, многие бросились на эстраду, хватали и целовали руки писателя, и овации по крайней мере на полчаса, если не на час прервали заседание: без конца вызывали Достоевского, а когда он выходил на вызовы – группа девиц держала сзади его, высоко подняв, огромный лавровый венок, поднесенный ему после чтения!.. Постараюсь объяснить это недоумение, напомнив читателям другого нашего знаменитого оратора и ученого: кто хотя раз слышал профессора-академика Василия Осиповича Ключевского, тот знает, сколько неуловимых перлов красноречия останутся незаметными для *читателей* его лекций. Есть ораторы, которые своим чтением ослабляют впечатление, и произведения их выигрывают в чтении. Достоевский своим надтреснутым голосом, манерой чтения, искренностью, экспрессией – способен был, как электрическим током, зажигать слушателей: *недописанное* в речах таких ораторов *договаривается* мастерством произношения.

Тотчас после Достоевского пришлось выступать И. С. Аксакову. Помню, что он стал было отказываться читать, извиняясь перед публикой, но голоса: «Просим, читайте, читайте», – вынудили И<вана> С<ергеевича> произнести свою речь.

На мою долю выпало в этот день доставить из Благородного собрания в Лоскутную гостиницу венок, поднесенный Ф. М. Достоевскому после его памятной речи. Мы подъехали к Лоскутной почти одновременно, и я вошел в его номер вслед за ним. Он любезно просил меня присесть, но так был бледен и, видимо, утомлен, что я решил по возможности сократить свой визит. Хорошо помню, как он, вертя в руках тетрадку почтовой бумаги малого формата, в которой не без помарок была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: «Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал...»! <...>

С. И. Уманец

<...> В последние годы жизни Достоевский, как и граф Л. Н. Толстой, стал впадать в «проповеднический» тон. Это особенно резко сказалось на Пушкинском юбилее в Москве, где Достоевский произнес вдохновенную речь, посвященную великому поэту, и прочел его стихотворение «Пророк» так, как никто никогда его не читал и не прочитает. Я был на этом историческом юбилее, и до сих пор не могу забыть ни этих удивительных глаз, загадочно устремленных куда-то вне мира, ни этого то полушепота, то звенящего призыва последних строк, полного заразной экзальтации! Громадный зал Дворянского собрания был снизу доверху переполнен тысячной толпой, которая переживала вместе с Достоевским все те мучительные и вместе сладкие минуты вдохновения, которые он сам тогда в глубине души испытывал, становясь как бы действительно пророком, ведущим толпу к высочайшему подъему духа и жегшим сердца людей. Тут же в зале со многими делалось дурно, несколько дам впали в глубокий обморок, с одним юношей на моих глазах сделался припадок падучей... Так была потрясена толпа, наградившая писателя бесконечно бурными рукоплесканиями.

Как жаль, что в этот счастливейший для Достоевского день с ним не была в Москве его вдова, ныне здравствующая А. Г. Достоевская, верный друг и неустанная помощница своего знаменитого мужа, бывшая его гением-хранителем до самых последних минут его тяжелой и омраченной страданиями жизни.

В доме графини С. А. Толстой, вдовы графа Алексея Константиновича Толстого, Ф. М. Достоевский был также всегда желанным гостем. Он издавал тогда свой «Дневник писателя», имевший успех, и стал принимать тот проповеднический тон, которым кончали многие наши писатели, впадая в какой-то особый славянский мистицизм. В аристократическом салоне графини, в котором собирался цвет столичного общества и который удостаивали своим посещением августейшие особы, Достоевский горячо развивал свою излюбленную теорию о «все-человечестве» Пушкина (которой он так увлек присутствовавших на Пушкинском юбилее) и мировой роли России.

Эта фантастическая и самолюбивая теория никогда не исчезала у нас в России, старательно поддерживаемая московскими славянофилами, которые устами А. С. Хомякова и И. С. Аксакова уверяли, что Россия велика своим «смирением», бедностью, темнотой, т. е. именно всеми теми вряд ли ценными качествами, которые всегда так резко отличали ее от культуры Западной Европы и держали в отсталости и оскудении. <...>

К. А. Тимирязев

<...> Дружеские чувства Максима Максимовича <Ковалевского> к Тургеневу и совершенно иные чувства, которые он питал к Достоевскому, я имел случай проверить и в памятные Пушкинские дни.

Живо помню, каким негодованием сверкали его всегда добрые глаза, когда он мне кивал головою на Достоевского, закончившего свою речь словами: «Что могу я прибавить к отзыву о Пушкине самого умного, лучшего из его современников – императора Николая?». Сказано было это, очевидно, чтобы раздражить большинство присутствующих и насладиться их беспомощностью – невозможностью ответить на этот вызов.

Еще более негодовали мы на совсем уже скверную личную выходку Достоевского в его знаменитой, вызвавшей такие истерические ³ восторги речи. Уставившись своими злобными маленькими глазками на Тургенева, поместившегося под самой кафедрой и с добродушным вниманием следившего за речью, Достоевский произнес следующие слова: «Татьяна могла сказать: “Я другому *отдана* ⁴ и буду век ему верна”, – потому что она была русская женщина, а не какая-нибудь француженка или испанка» ⁵.

Да, Максим Максимович был близким и верным другом Тургенева, а о его близости к Достоевскому я ничего не слышал и в воспоминании его друзей его образ сохранился всегда рядом с образом Тургенева, а не Достоевского ⁶. <...>

³ Я говорю истерические потому, что сам был свидетелем такого припадка с одним молодым человеком, моим учеником.

⁴ Подчеркиваю это слово потому, что сам оратор произнес его с особенным подчеркиванием.

⁵ Намек на Viardo – Garcia. Коснувшись этих подробностей, если не ошибаюсь, не проникших в печать, упомяну и об эпизоде с венками. После этой речи Достоевского группа молодых его поклонниц направилась к нему с огромным венком, причем одна из них, проходя мимо Тургенева, сказала ему «не Вам». Не зная, что делать с венком, его надели Достоевскому через голову на плечи, и он несколько мгновений сидел, изображая из себя жалкую, смешную фигуру, пока не нашелся добрый человек, освободивший его от этого ярма. Когда сходная депутация (если не ошибаюсь, по инициативе Ковалевского) в тот же день вечером поднесла Тургеневу небольшой лавровый венок, он, не задумываясь, принял его из рук и положил к подножию бюста Пушкина.

⁶ Припоминаю, кстати, слышанный от Тургенева отзыв о Достоевском: «Это самый злобный христианин, которого я встретил в своей жизни».

А. В. Амфитеатров (1921)

I.

В знаменательные дни, память которых я хочу воскресить пред вами, этот общеславянский облик великого писателя обрисовался с особенно выпуклою выразительностью. 8 июня 1880 года, на третий день московских торжеств по случаю открытия всенародного памятника А. С. Пушкину, в торжественном заседании Общества любителей российской словесности в белоколонном зале Дворянского собрания около двух часов пополудни Ф. М. Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине. Речь эта, мало сказать, взволновала и потрясла внимавших ей; она ошеломила, подавила, ослепила эту исключительно блестящую избранную публику, съехавшуюся на «праздник интеллигенции» со всех концов России. До того, что на мгновение, казалось, она даже решила было вековой спор двух господствующих течений русской общественной мысли – славянофильства и западничества. «Иван Сергеевич Аксаков, сказавший тут же о себе, что его считают все как бы предводителем славянофилов, заявил с кафедры, что моя речь “составляет событие”», – пишет сам Достоевский в «Дневнике писателя». Я, очевидец «события», живо и ясно помню момент, как оно было провозглашено. Как среди неописуемого рева и грохота восторгов появился на кафедре дюжий, широкоплечий, краснолицый, с суровыми серыми глазами Аксаков и, махая руками и зычным голосом преодолевая шум, потребовал спокойствия. И чуть не на каждой фразе прерываемый взрывами рукоплесканий, дал речи Достоевского ту аттестацию, что пришлось так по сердцу самому Федору Михайловичу.

– Веще слово сказано, – гласил Аксаков, со своими обычными пылками, но плавными, несколько театральными боярскими жестами. – Здесь расхождения и двух мнений быть не может. Я думал говорить много, но теперь не скажу ничего. Не к чему: Федором Михайловичем всё сказано. Я, Иван Сергеевич Аксаков, почитаемый главою славянофилов, протягиваю руку Ивану Сергеевичу Тургеневу как главе западников, ибо после речи Федора Михайловича между нами не должно быть разногласия. Он всё решил, всех примирил. И толковать здесь, стало быть, больше нечего!

Последнюю фразу, сказанную чрезвычайно авторитетно и выразительно, почему я и запомнил ее, смею утверждать, безошибочно, Аксаков сопроводил крепким, трескучим ударом кулака по пюпитру. И сошел с кафедры, чтобы действительно обменяться торжественным рукопожатием с огромным и великолепным, в серебряных сединах своих, отменно из всех элегантным в парижском фраке Тургеневым. Иван Сергеевич Тургенев встал навстречу Ивану Сергеевичу Аксакову, как мне показалось, с гораздо меньшим энтузиазмом, чем глава славянофилов к нему поспешил...

«Рядом с славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, – пишет сам Федор Михайлович, – подошли ко мне и западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы, и называли речь мою гениальною и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь, боюсь искренно, не в первых ли “попыхах” увлечения произнесено было это!»

И – несколько ниже, предполагая разочарование и отступление, ожидаемые им от западников, как скоро они опомнятся от увлечения:

«Nota bene: я не о тех пишу, которые жали мне руку, а лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напирал...».

И еще – после того как Достоевский импровизировал от имени воображаемых зауряд-западников вывод о невозможности им приять к вере и к руководству величие и мудрость духа народного:

«Повторяю: я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, но и в уста очень многих просвещеннейших из них, русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских граждан...»

Все эти намеки о «западниках, которые жали мне руку», относятся всецело к Тургеневу. Равно как весь августовский номер «Дневника писателя», единственный, вышедший в 1880 году, целиком посвященный полемике по поводу пушкинской речи, является, собственно говоря, не иным чем, как косвенным вызовом Тургеневу сказать свое западническое слово соглашения, после того как Достоевский так громко и откровенно сказал свое славянофильское. Тургенев не мог не понимать вызова, но не захотел его принять, и Достоевскому пришлось сойти на полемическую арену далеко не *inter pares*⁷. Патентованным противником его оказался, как известно, Градовский – талантливый публицист-либерал, очень образованный, очень твердый, очень честный, очень убежденный, но совершенно лишенный того художественного чутья, той глубины духовных восприятий, той шири сердечной, которые могли бы помочь ему найти общий с Достоевским язык. Поэтому их полемика останется в истории русской литературы трагикомическим образцом взаимного непонимания, столь характерно обычного для русских идейных споров, когда одна сторона зная твердит свое, не слушая другую сторону по существу и лишь ловя ее на неловких посылках и неудачных выражениях. Градовский в этой словесной войне выиграл хоть то, что благодаря полемике с Достоевским получил бессмертие своего имени. Достоевский ровно ничего не выиграл, потому что бессмертие было им давно уже завоевано, а после – пушкинская полемика отравила его глубоким разочарованием:

«Тяжело видеть, что весьма серьезная и знаменательная минута в жизни общества нашего представлена извращенно, разъяснена ошибочно. Тяжело было видеть, что идею, которой служу я, волокут по улице. Вот вы-то ее, – бросает он Градовскому, – и поволокли».

А минута была действительно серьезная и знаменательная. В жизни каждого взрослого, а тем более пожилого человека, если он на земле не только прозябал да небо коптил, но мыслил и чувствовал, найдется, господа, воспоминание о каком-нибудь моменте общественного подъема, который, могущественно заиграв на лучших струнах души его, остался для него навсегда идеальной грезой, своего рода Фаустовым мгновением: «Прекрасно ты, остановись!..». Лично за себя, да полагаю, что и за многих моих ровесников и сверстников я смею утверждать, что таким Фаустовым мгновением для нашей юности явились московские пушкинские дни. Едва ли когда-нибудь раньше и – в этом-то я уже совершенно уверен – никогда позже русская интеллигенция не устраивала такого блистательного смотра своих творческих сил, как в этом изумительном всероссийском паломничестве к подножию беспритязательного и тем самым неожиданно удачного монумента на Тверском бульваре.

Господа, стоя пред вами на этой эстраде, при всем моем уважении и симпатии к восседающим на ней писателям и ученым мне просто как-то жутко вспоминать ту эстраду – воистину русский литературный Олимп, в лучезарном несиянном свете и лавровом ореоле. Вообразите себе сидящих рядом, бок о бок, Тургенева, Достоевского, Писемского, Островского, Майкова, Полонского, Потехина, Ключевского, Аксакова, Буслаева, Тихонравова, Максима Ковалевского, С. А. Юрьева, Николая Рубинштейна, П. И. Чайковского... Да, если русская культура когда-либо могла гордиться поверкою своей мощи, в живых людях выраженной, то это, конечно, в те незабвенные и приснопамятные дни!..

⁷ Между равными (*лат.*).

II.

В весьма знаменитом, хотя и не слишком художественном историческом романе Сенкевича «Quo vadis» есть сцена апостольской проповеди, где самым убедительным вещателем о Спасителе является не Петр и не Павел, но простой старик-ремесленник, умеющий повторять только: «Я Его видел! Я Его слышал!» Я плохой оратор. Но у меня, как у этого старика, есть одно преимущество – собственно говоря, печальное для меня преимущество, обусловленное возрастом: «Я их видел! Я их слышал!»

Да! Я их видел и слышал! И между ними видел и слышал его... того, кому посвящаются эти строки. Видел и слышал в момент величайшей моральной победы, какую он когда-либо стяжал; в момент, когда он, вековечный земной страдалец и, строго говоря, житейский неудачник, внезапно был осиян удачей и славой; в момент его воистину апофеоза. А впрочем, зачем я говорю: «Видел и слышал»? Нет, господа, я еще вижу и слышу его. Вот она – как будто сейчас передо мною – эта странная фигура рыжеватого желтолицего человека, довольно рослого, но почему-то, однако, он кажется маленьким в громадном зеленом кольце лаврового венка, которым обрамили его сзади стоящие московские либеральные деятельницы-интеллигентки, Ю. Н. Глики и кн. Н. Д. Мышецкая... Я опять слышу этот странный теноровый голос, высокий и полный нервной силы, который уже первым, слегка надтреснутым звуком своим приковывает к себе внимание мертво затихшего зала и внятно, отдельно как бы скандует:

– Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое.

Как-то вдруг подчеркнуто на о (среди своего московского-то акающего говора!), словно молотком по гласным ударяя, произнес он это свое «пророческое». И – Бог его знает, что было в нем, в этом голосе, но все мы тогда, весь зал, вдруг почувствовали, что с нами заговорил человек, действительно имеющий право «прибавлять от себя» к тому, что «сказал Гоголь». И если кто в состоянии растолковать нам пророческое значение Пушкина, то вот именно лишь этот истомленный человек, с мистическими глазами эпилептика на тревожном и недобром лице много битого судьбой петербургского разночинца. Ибо раздвоено существо его, и если одною ногою он стоит там, в неведомом мире тайновидящей мечты, где первообразы кипят и откуда возникают прозорливые вдохновения пророков, то другою ногою он всегда здесь, с нами, на нашей серой, будничной, несчастной, злой и скверной земле, и мы ему не меньше, а может быть, много больше дороги, чем все потусторонние чудеса его прозрений...

Еще несколько минут, и голос вырастает почти в вопль пронзительно укоряющего, стеклянного звона:

– Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве... Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собою – и узришь правду...

Вы слышите: он говорил прозой. Но едва ли к кому-либо еще более, чем к нему, хотя он, кажется, в жизнь свою не написал ни одного стихотворения, подходило знаменитое предсказание Пушкина о поэте, чей «выстраданный стих, пронзительно унылый, ударит по сердцам с неведомою силой...». В том, что говорил и читал Достоевский пред публикою, всегда было глубокое, сильное содержание. Оно захватывало и покоряло толпу влиянием моральной убедительности. Но я позволяю себе думать, что в огромном впечатлении, которое оставляли его слова, имело немалое значение и чисто физическое воздействие его странного голоса, способного в минуты волнения подниматься до истерических нот, бьющих по нервам, именно с неведомою силою распространяя в слушателях заразу того же возбуждения, что сотрясало самого вещателя.

Пушкинские дни и вечера были богаты прекрасными чтецами и декламаторами. Не говоря уже о профессиональных актерах вроде знаменитого И. В. Самарина, достаточно назвать хотя бы А. Ф. Писемского: по мастерству чтения далеко было до него самым прославленным профессионалам. Но в чтении Достоевского было не мастерство, а что-то совсем особое, отнюдь не искусное, даже нескладное, пожалуй, и, однако, потрясающее; нечто, чем он, выражаясь театральным языком, «крыл» всех, кто дерзал выступать с ним рядом на эстраду... Я, например, решительно не могу вспомнить пушкинского «Пророка» без того, чтобы в мыслях моих не возникла фигура Достоевского с его медленной поступью по эстраде, с его полузакрытыми молитвенно глазами, с его начальным глухим полупшепотом:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

Я не скажу даже, чтобы это мне нравилось; многое даже досаждало – казалось чрезмерным, неестественным, театрально наигранным. Но тянуло «неведомою силою» слушать неотрывно. И когда глухо ропщущий полупшепот вдруг вырастал в вопль:

Восстань, Пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею моею
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей! —

право, трудно было удержаться, чтобы не ответить этому исступленному, дикому, фанатическому «жги» – таким же болезненным невольным криком... Что, говорят, и случилось неоднократно...

Это побеждало. Вы чувствовали, что пред вами стоит человек, сам удостоенный видений и слышания гласа Божия, в самом деле знающий о себе, что он – пророк. Вы слышали вопль несчастного счастливца, который в самом деле приял на себя серафическое чудо послания в мир, чтобы жечь сердца людей глаголом своим, – дар страшный и обоюдоострый, потому что он испепеляет не только трепетные сердца внимающих, но еще скорее этот роковой дар серафима – «угль, пылающий огнем» – могучее сердце пророка.

III.

Свою пушкинскую речь, уже начатую возбужденно, Достоевский продолжал в совершенной истерике, всё возмущавшей по мере блестящего развития этой страстной декларации культурного славизма. Истерическая зараза могущественно передавалась с эстрады в зал. Настроение росло и захватывало со стремительной быстротой. За логическою связью речи никто уже не следил, хотя она сплетена очень обдуманно и искусно. Не до того было. В уши врывались властные афоризмы, подобные стихам Священного Писания:

– Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит несчастный, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье?..

И потом – о русской народности:

– Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и ко всечеловечности?.. Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение. Для настоящего русского

Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей... О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!.. Разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено... Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил, благословляя, Христос». Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и сам Он не в яслях ли родился?..

Некогда было думать над тем, что он бросал в умы внимающей толпы – не позволял, не давал времени, едва успевали воспринимать и чувствовать. И когда он, задыхающийся, полуобморочный, произнес свою заключительную фразу о том, что Пушкин, высший выразитель нашей всечеловечности и всемирности, «унес с собою в гроб некоторую великую тайну», и, уже приподнимаясь со стула, с неизобразимою вескостью и содержательностью интонации закончил:

– И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем – тогда... я не берусь, господа, описать, что произошло тут тогда. Казалось, земля расселась, потолок рухнул, стены и колонны зашатались: так единодушно и могущественно грохнул зал ответным восторгом. Ничего подобного не видал и не слышал я ни прежде, ни после. Описание, которое дает этой беспримерной овации сам Достоевский в полемической против Градовского статье «Буря в стаканчике», несколько не преувеличено. Незнакомые люди поздравляли друг друга, менялись рукопожатиями, обнимались, целовались, будто в Светлое Христово Воскресенье. На груди моей очутилась совершенно неведомая мне молодая дама и рыдала, обильно орошая сладкими слезами мой новенький гимназический мундир. Лет пятнадцать спустя мы встретились и со смехом узнали друг дружку. Это была знаменитая впоследствии московская капиталистка, передовая общественная деятельница и благотворительница Варвара Алексеевна Морозова, одна из лучших женщин, рожденных Москвою. Заметьте: ее политические убеждения и взгляды, тесно совпадавшие с западничеством «Русских ведомостей», несколько не отвечали направлению Достоевского, и основная тенденция именно пушкинской его речи не могла ее удовлетворять. Да ведь и те раньше поименованные мною интеллигентки, которые стремительно бросились венчать славянофила Достоевского лаврами, причем демонстративно пронесли их мимо западника Тургенева, да еще и с вызывающим язвительным примечанием: «Не вам, не вам, а ему», – эти милейшие Юлия Николаевна и Надежда Дмитриевна были самые правоверные, заклятые западницы... И неделю-другую спустя, опамятавшись от первого истерического восторга, смущались воспоминаниями о нем и горою стояли за Градовского, когда этот публицист, быстро учув опасность возвешенной Достоевским унии, принялся отчитывать и изобличать ересь Федора Михайловича по либеральному катехизису «человека шестидесятых годов»... Эти примеры могут свидетельствовать, насколько могуче было личное обаяние Достоевского, как способно было именно сожигать сердца его огненное слово...

Не знаю, господа, счастье это или несчастье мое, но я почти совершенно лишен чувства стадности: толпа меня не подчиняет, большинство меня не убеждает, почему, вероятно, я и прожил свой век внепартийным человеком. Я трудно поддаюсь панике, слабо приемлю массовый энтузиазм. И в этом случае – тоже: не скажу, конечно, чтобы я остался вовсе чуждым всеобщему восторгу, но, несмотря на молодость свою, сохранил среди бушевавшего кругом почти безумия некоторое хладнокровие и долю недоверчивого скептицизма. А может быть, в том именно ранняя молодость-то и виновата. Недавно в Берлине знаменитый пианист Зилоти рассказывал мне со смехом, что когда он подростком слушал Антона Рубинштейна то чем бы восхищаться и благоговеть, сосчитал все фальшивые ноты, которыми этот величайший пианист довольно обычно грешил в левой руке. Кроме того, пожалуй, расхолаживала и некоторая ревность. Я в то время был без памяти влюблен в Тургенева, поклонялся ему как божеству, любо-

вался им до смешного. Когда мой дядя, известный экономист Александр Иванович Чупров, представил меня литературному кумиру моему, то я с радости два дня умывался только левою рукою, чтобы, так сказать, подольше сохранить на правой благодать пожатья, которым Тургенев ее удостоил. Можете заключить отсюда, насколько было молодо-зелено. Мне казалось необходимым и справедливым, чтобы в великом литературном оркестре пушкинских торжеств место дирижера занимал Тургенев. Да так оно и предназначалось в плане устроителей, и, пожалуй, так оно и было до речи Достоевского. Но невозможно было не заметить, что Достоевский вдруг одним смелым движением вырвал из рук Тургенева дирижерскую палочку и в эффектнейшем и значительнейшем финале пушкинской симфонии замахал ею сам. И, что всего казалось обиднее, замахал по праву. Потому что изящная, чисто литературная речь Тургенева, которой мы горячо аплодировали накануне, совершенно поблекла, забылась, как бы утонула в громадном общественном значении речи Достоевского. Я не мог не понимать этого, но чувствовал себя несколько грустно – вроде того, как очень влюбленный юноша, придя на бал, вдруг убеждается, что его возлюбленная совсем не первая красавица в мире и далеко не царица бала.

IV.

Я думаю, что Достоевский предвидел свою близкую победу над Тургеневым, которого он, как известно, очень не любил, уже задолго до того, как взошел на кафедру. В его речи рассыпано довольно много намеков, прямо или косвенно относящихся к литературному сопернику. Таковы слова, что, кроме Пушкина, у нас не было народных писателей, но были, «за одним, много что за двумя исключениями, лишь “господа”, о народе пишущие». Да и у этих двух исключений «нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием». Ясно, что эта стрела не могла быть пущена – из сидевших тут-то – ни в Островского, сочувственника Достоевскому по славянофильской тенденции, ни в Писемского, наиболее правдивого из всех изобразителей народа; она летела, конечно, в автора «Записок охотника», «Муму» и «Постоялого двора». Другим намеком, может быть и неумышленным, показалось пронизательной Москве язвительное противопоставление пушкинской Татьяны как типической честной русской женщины женщине «южной или французской какой-нибудь»: мысли многих тут невольно обратились к печальному роману Тургенева с Полиной Виардо. Все эти горькие пилюли были позолочены знаменитою характеристикой Татьяны:

– Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе, кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева.

В настоящее время сложилось и повторяется предание, будто в грохоте рукоплесканий, покрывшем этот комплимент, потонул конец его: «и Наташи Ростовой в “Воине и мире” Льва Толстого». Предание это ошибочно. Достоевский произнес свою фразу четко, чеканно, с продуманной затем паузой, верно рассчитанной на взрыв аплодисментов по адресу Тургенева: великодушная взятка разбитому наголову противнику. Если бы он действительно воздал тогда эту достойную хвалу Наташе Ростовой, как бы и почему бы она исчезла из печатного текста пушкинской речи, который он сам редактировал для «Дневника писателя»? Да и вообще надо помнить, что в речи Достоевского случайностей быть не могло. Он ведь не говорил ее, а читал по рукописи, но так живо, искусно, с такою артистическою выработкой и с таким темпераментом, что наличность рукописи забывалась и речь казалась тут же на месте рождавшейся и свободно льющейся импровизацией:

Года прошли, и что ж осталось
От сильных, славных сих мужей?

Их поколение миновалось...

И нам вот остается лишь вспоминать о них, сравнивая век нынешний и век минувший, сознаемся, без всякого авантажа в нашу пользу. Мы называем их нашими учителями, гениями, пророками. Да, они учителя, но мы-то, нерадивые ученики, чему выучились? Да, они гении, но мы-то, озаренные их гениальностью, как воспользовались ее гигантским вдвигом в жизнь! Не закопали ли мы даров ее в землю, подобно ленивому и лукавому рабу евангельской притчи? Не разменяли ли ее чистое золото на мелкую и часто, увы, даже фальшивую монету? Да, они пророки, но вняли ли мы пророчествам их, верили ли, следовали ли? Возьмите хотя бы и Достоевского с его апокалиптическим ясновидением будущей русской революции в «Бесах», с третьим сном Раскольникова в эпилоге «Преступления и наказания», сегодня прочитанном пред вами Е. Н. Чириковым. Вспомните этот грозный бред, в котором, как на ладони, вы видите лето 1917 года, преемство и фантастическое смешение умирающей войны и нарождающегося революционного психоза, предсказанное за 60 лет вперед. Этот человек весь свой век делил судьбу с Кассандрой, которой пророческий дар был отравлен проклятием Аполлона, – никто не хотел верить ее пророчествам, принимая их за художественный бред. Достоевский любил воображать себя пушкинским Пророком, но, в сущности, он был Пророком лермонтовским. Ему тоже не удавалось убедить своих современников, что «Бог гласит его устами», и лишь потомство начало о том догадываться, испуганное и смущенное зловещим превращением давних грозных слов его в нынешнюю ужасную действительность... Нас остерегали – мы не остереглись. Пророка ли вина? Я думаю, что, если бы Достоевский переживал наши военные и революционные годы, он выразил бы их такими же неистовыми страницами, в которых предельное национальное отчаяние смешано с горьким удовлетворением справедливостью своих предвидений, как читаем мы в бессмертном Плаче Иеремии... Во всяком случае, он имел бы на то полное право.

Но злой пророк еще не полный пророк, а мы в нашем вещем писателе ценим пророка совершенного, тайновидца не только геенны огненной, но и Нового Иерусалима. Я знаю, господа, что оптимистическая часть предсказаний Достоевского, его положительный идеал сейчас не пользуется доверием. Провозглашенное им крылатое слово «народ-богоносец» встречается теперь в обществе горьким смехом. В самом деле – возможно ли серьезно говорить о «народе-богоносце» в стране, где мужик только что, по пословице, «Бога во щах слопал», а недавние богостроители и богоискатели идут на службу в Чрезвычайки и кровавят свои руки соучастием в правительстве самых исступленных зверств, самого цинического порабощения, самых наглых повторений грехов и преступлений Содомы и Гоморры?..

Да, господа, жутко, стыдно, тягостно, безнадежно, плохо верится... Но верить-то и надеяться все-таки надо... Ничего! Ведь и древний тайновидец на Патмосе, с которым у Достоевского так много общего в мысли и темпераменте, не сразу увидел блаженство Нового Иерусалима и славу Жены, облеченной в солнце. А сперва видел он и зловещую книгу за семью печатями, снятие каждой из коих вещало мировую катастрофу, и коня бледного, и зверя из бездны, и волхва со лживыми устами, и убийство пророков, и царство Драконово... Мы в настоящее время находимся в самом кипении торжествующего царства этого и пьем от него горчайшую из горчайших чашу... Но, господа, позвольте мне в этом случае быть тем наблюдателем-оптимистом, которого, правда, несколько иронически изобразил Гете в своем «Сне в Вальпургиеву ночь». Этот чудак, попав на бесовский шабаш, не испугался, но очень обрадовался, «потому что, – говорит он, – раз я вижу чертей, то отсюда заключаю, что, следовательно, существуют и ангелы...». И, в порядке той же логики, я думаю, я хочу верить, что если пророк, предсказавший нам крушение нашей злосчастной культуры и царство мошенника Петра Верховенского, оказался так чудесно и мучительно прав в этой первой черной половине своих прорицаний, то в конце концов явит он правду свою и во второй половине, мечтаемой в ярком

свете возрождения и воскресения. Верю слову его, что «будут воистину новые люди, а прежнее животное будет побеждено». Во имя этой веры, на эту надежду теперь дело наше работать, если не хотим мы быть презренными и обреченными уничтожению и забвению в нынешнем нашем временном национальном бессилии и унижении.

А. В. Амфитеатров (1931)

8 июня 1880 года, на второй день московских празднеств по случаю открытия всенародного памятника А. С. Пушкину в торжественном заседании Общества любителей российской словесности, в белокаменном зале Дворянского собрания Федор Михайлович Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине. Речь эта, мало сказать: взволновала и потрясла внимавших ей, – нет, она ошеломила, раздавила, ослепила эту «избранную публику», съехавшуюся на «праздник интеллигенции» со всех концов России. До того захватила и заколдовала гипнотически, что, на мгновение, показалась решительным исходом из чуть не векового спора двух главнейших встречных течений русской культуры, западного и славянофильского.

Иван Сергеевич Аксаков, «предводитель славянофилов», как он сам тогда заявил о себе, с кафедры, тут же немедленно определил торжественно, что речь Достоевского «составляет событие». Определение это, по-видимому, очень понравилось Достоевскому: оно дословно передано в «Дневнике писателя», и, говорят, Достоевский любил его повторять. Я помню живо и ясно, как оно было провозглашено. Как, среди неопишемого общего рева, плеска, грохота, всплыл на кафедре над буйным морем голов, – Посейдоном этаким, – широкоплечий, краснолицый, с суровыми серыми глазами под золотыми очками, Аксаков и, преодолевая радостный шум возбужденной толпы, возопил зычным голосом бирюча старомосковских веков, с пыльным рукомаханием:

– Здесь расхождения и двух мнений быть не может. Речь Федора Михайловича всё выяснила, всё примирила. Я думал говорить много, но теперь не скажу ничего больше, потому что Федором Михайловичем всё, – всё, что надо, – сказано. Я, Иван Сергеевич Аксаков, почитаемый главою славянофилов, протягиваю руку Ивану Сергеевичу Тургеневу, почитаемому главою западников. И этим всё договорено. И толковать больше нечего!

Трескуче стукнул кулаком по попитру, – суший купец Калашников! – и, под новым громом аплодисментов, сошел с кафедры, чтобы действительно обменяться торжественным рукопожатием с огромным и великолепным, в серебряных сединах, Тургеневым, который встал навстречу, как мне показалось, с гораздо меньшим энтузиазмом, чем бурнопламенный глава славянофилов к нему спешил.

Аксаков был человек, несомненно, весьма замечательный: и талантливый, и умный, и смелый, и честнейше стойкий в своих убеждениях, и оратор превосходный, одинаково одаренный и богатством речи, и темпераментом. Словом, величественный был «муж совета» и трибун с головы до пяток: каждый вершок трибун! Но было в нем что-то и комическое, – может быть, именно от чрезмерного избытка достоинств? – позывавшее, при всем к нему почтении, на скрытую усмешку. Бывают роковые сходства между людьми и неодушевленными предметами хозяйственного быта. Вот и Аксаков, вопреки своей трибунской важности, как-то смахивал немножко на ведерный самовар красной меди, ярко вычищенный, – пар столбом, – кипящий и шумящий.

У каждого пожилого человека найдутся в душе воспоминания о каком-нибудь переживании общественного подъема, когда хотелось, подобно Фаусту, сказать мгновению: «Прекрасно ты! остановись!» Лично за себя, да, полагаю, и за многих своих ровесников, смею утверждать, что для нашей ранней юности таким Фаустовым мгновением сверкнули московские пушкинские дни. Не знаю, бывало ли раньше, но, – в этом-то я уже совершенно уверен, – никогда позже русская интеллигенция не устраивала такого выразительного мощного смотра своих литературных творческих сил, как в этом удивительном, неожиданно всероссийском паломничестве на московский Тверской бульвар, к беспритязательному, но тем самым неожиданно же удачному опекушинскому монументу.

Мне просто как-то жутко вспоминать эту эстраду как бы световыми ореолами или огненными языками озаренную, где рядом, бок о бок, сидели Тургенев, Достоевский, Писемский, Островский, Майков, Полонский, Ключевский, Аксаков, Глеб Успенский, П. И. Чайковский, Н. Г. Рубинштейн, Н. С. Тихонравов, А. И. Чупров – и фигурами еще сравнительно второстепенного значения были С. А. Юрьев, А. Ф. Кони, А. А. Потехин, А. И. Урусов, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, Н. А. Чаев, Д. В. Аверкиев... Недоставало только Льва Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина, чтобы в живой выставке лиц представлены были полностью литературные «люди сороковых годов» и «шестидесятники». Живой иконостас святых русской культуры.

Не люблю я старости ни в других людях, ни, особенно, в себе самом. Но вот соображаю, что она дает мне право сказать младшим поколениям:

– Я видел собственными глазами тех, чьи имена для вас лишь великанские призраки из истории литературы, волшебные символы «полных собраний сочинений», или даже уже лишь священные хрестоматические мифы.

И за это преимущество (собственно говоря: печальное преимущество стоять уже в авангарде общечеловеческого похода к могиле) я готов извинить старости хотя не все, но довольно многие ее, с позволения сказать, свинства.

Да! Я «их» видел и слышал. И, в числе их, видел и слышал Его: не удивляйтесь большой букве! стоит! – Его, Кто пятьдесят лет тому назад ушел из нашего мира телом, но тут-то и пришел к нам, в особой силе и власти, духом – с тем, чтобы затем пребыть с нами властителем наших дум и ныне и присно и во веки веков. Ибо Достоевский, – это – тот, от кого... или нет, лучше: то, от чего русскому человеку некуда деваться, даже если бы он того хотел. А какой же русский или культурно обруселый человек хочет уйти, «отделаться» от Достоевского?

Да, я видел и слышал Его – и как! В минуты величайшей моральной победы, какую Он когда-либо одерживал; в минуты, когда Он, вековечный страдалец, вдруг был весь осиян удачей и славой, в минуты Его мало сказать триумфа, – нет, вернее будет апофеоза...

А, впрочем, что я говорю: видел и слышал. Нет, я еще вижу, я еще слышу Его. Вот она – как будто сейчас передо мною – странная фигура: рыжеватый, бледнолицый человек, рослый, но почему-то кажущийся маленьким, в громадном темно-зеленом кольце, венке лавров, которыми обрамляют его сзади московские интеллигентки-либералки, Юлия Ивановна Глики и княжна Надежда Дмитриевна Мышецкая. Обе, по тогдашней московской кличке, «наш пострел везде поспел!».

Слышу странный, полный нервной силы, высокий, теноровый голос. Он приковал зал к своему истерически внушительному звуку уже первую фразу, произнесенную медленно, четко, отдельно и как бы скандуя:

– Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавим от себя: и пророческое.

Как-то поповски или вроде старообрядческого начетчика, на о, вымолвил Достоевский это свое «пророческое». И Бог его знает, что было в нем, в этом голосе, но все мы тогда, весь зал, сразу вдруг почувствовали, что с нами говорит Некто, действительно имеющий право «прибавлять от себя» к тому, что сказал Гоголь. И что если кто в состоянии открыть и изъяснить нам пророческое величие Пушкина, то лишь именно этот человек, с мистическими глазами провидца на лице отошавшего обывателя-разночинца и с голосом тайноведа, проникнувшего в глубины Трофониева оракула, выйдя из пещеры которого, смертный, говорят, терял навсегда способность улыбаться.

Еще несколько минут, и – слышу вопль, почти взвизг пронзительного стеклянного звука:

– Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде потрудись на родной ниве... Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, – и узришь правду...

– Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено... Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и сам Он не в яслях ли родился?

Мне тогда шел девятнадцатый год, был я гимназистом восьмого класса, но больших ораторов я уже слыхивал: Плевако, Урусова, Александрова (он нам, Амф<итеатро>вым, был родственник в каком-то колене), даже в собственном нашем семейном кругу часто звучало увлекательное красноречие дяди, знаменитого профессора-экономиста Александра Ивановича Чупрова, а трогательные проповеди моего родителя, прославленного московского «отца Валентина», почетно слыли и по Москве, и далеко за пределами Москвы. Но то, что теперь я слышал из уст Достоевского, не было ни красноречием, ни ораторством, ни «речью», ни даже «проповедью». Лилась огненным потоком, подобно расплавленной лаве, гласная исповедь великой души, самоотверженно раскрывавшейся до глубочайших своих тайников – затем, чтобы себя хоть до дна опустошить, но нас, слушателей, убедить и привести в свою веру...

Я не знаю, был ли Достоевский вообще «хорошим оратором». Очень может быть, что нет. По-моему, так говорить, как он тогда, человек в состоянии только однажды в жизни. Выскзался, – весь до конца выявился, – и довольно: «о жизни покончен вопрос», – не жаль и умереть, – вправе! Так ведь, собственно говоря, и вышло с Достоевским: свою пушкинскую речь он пережил только семью месяцами, и все эти месяцы были для него полны ее откликами и ответами: полемика с Градовским и пр.

Да, это была не речь, а скорее долгое заклинание, словесное колдовство. Либо – поправлюсь в угоду созидательного содержания, – страстный экзорцизм, ударявший по сердцам с неслышанною силою, чтобы изгнать из них «Великого Страшного Духа Небытия» со всею его свитою – сомнением, унынием, неверием... Ведь Достоевский говорил перед публикою, вовсе уж не так расположенною приять его в учителя и духовные отцы. Его слушала московская либеральная интеллигенция: «либрпансёры», демократы-идеалисты по заветам Великой Французской Революции, утописты-социалисты сороковых и пятидесятих годов, пожилые Базаровы и Базаровы-сыновья, материалисты, воспитанники нигилизма шестидесятых годов, политические «оппозиционеры», сочувственники народнической революции семидесятых, ученики и поклонники Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Михайловского... Казалось бы, перед такую публикою, «либеральничающею с оттенком европейского социализма, но которому придан некоторый благодушный русский характер» (язвительная усмешка Достоевского в той же самой речи), экзорцист во имя Пушкина, как воплотителя национальных русских идеалов и пророка вождевого значения России в этическом прогрессе человечества, был заведомо обречен на жесточайший провал. Прибавьте к тому, что Достоевскому еще не были прощены ни «Бесы», ни старец Зосима в «Братьях Карамазовых», ни многое «реакционное» в «Дневнике писателя». Но...

Слышим заключительный подъем голоса:

«Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

И, с последним словом, – вдруг – что-то вроде землетрясения. Тысячная толпа сразу вся на ногах, – стремятся к эстраде, – гром, рев, вой, истерические взвизги, – воспаленные глаза, щеки, омываемые слезами – на груди моей рыдает, неизвестно откуда взявшаяся, незнакомая дама: впоследствии, много лет спустя, встретились, – узнали друг дружку, – оказалась знаменитою московскою меценаткою Варварою Алексеевною Морозовой. Повскачили на стулья, машут руками. Общая ошалелость. Общий позыв двигаться, и орать. На эстраде смятение

и метание. Тургенев, стоя, аплодирует широким, показным жестом. Достоевский раскланивается – уже в рамке венка, как я писал выше. Сколько времени это продолжалось, ей-Богу, не знаю: мгновенье совсем остановилось. «Стой, солнце, и не движись, луна!» Думаю, что для того, чтобы публика почувствовалась и, придя в себя, дала продолжать заседание, понадобилось не менее полчаса.

Но и затем продолжать заседание нельзя было. Достоевский, собственно говоря, его сорвал. Он, так сказать, съел всё внимание публики. Следующий оратор, Аксаков, это чутко понял и, вместо речи, еще поддал пару, – словно плеснул из шайки водой на каменку паровой бани, – картинным примирением славянофилов с западниками. Назавтра разобрали, что разыграли комедию, но, в тот момент, было страсть эффектно и трогательно. На отказ от речи Аксакову, конечно, кричали: «нет, просим-просим!» Но он был умный: доложил лишь крохотный отрывок из приготовленной речи, – о чем, не помню: только хорошо прочел строфу из «Евгения Онегина»:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал...

И – тихим колокольным басом – в самом деле, дал в последних двух словах настроение, будто пролетел солидный этакий жучин...

Вообще, надо сказать: превосходно читали Пушкина все эти старые литературные богатыри. «Воротился ночью мельник» Писемского у меня так застрял гвоздем в памяти, что впоследствии даже Шаляпин – гениальной декламацией под музыку Даргомыжского – не подавил давнего юношеского впечатления.

Писемский читал, как первоклассный комический актер, чего нельзя было сказать о Достоевском. Но опять-таки было в его чтении что-то такое внутренне-особенное, что цепко овладевало вниманием и зажигало слушателя. Даже в простодушной сказке, как плач Медведя по убитой мужиком боярыне-медведице. Но верхом его декламации, конечно, был «Пророк». Говорят, Достоевский читал его часто. Неужели всегда так страстно, как на московском пушкинском вечере? Не думаю и не хотел бы того. Потому что, в таком случае, это, значит, было бы привычным актерством, наигранным уменьем в спокойном духе горячиться. Тогда как с пушкинской эстрады слышали мы нечто от громов Синая.

Восстань, Пророк! И виждь, и внемли!
Исполнишь волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Это металлически острое, пронзительно, безумно выкинутое «ЖГИ!» Достоевского, после почти шепота начальных стихов «Пророка» и сурового величия последнего четверостишия, режущим вихрем ворвалось в уши и, потрясая слух, в самом деле, как бы обожгло душу огнем: тем «диким криком духа потрясшего и повергнутого», о котором сам Достоевский так выразительно ярко говорит в «Идиоте», – воплем эпилептика, настигнутого припадком. Не оцепенеть на мгновение под этим резким хлестом звуковой плети-молнии, не ответить на него потом лихорадочной дрожью, морозным пробегом по всему телу, было решительно невозможно. Грозно заколдовывал, мучительно восхищал.

Пушкинская речь Достоевского, конечно, несколько раз прерывалась рукоплесканиями. Об одном таком перерыве, особенно громком и дружном, хочу сказать два слова. Это – после характеристики Татьяны:

«Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе – кроме разве образа Лизы в “Дворянском гнезде” Тургенева».

«И Наташи Ростовой в “Войне и мире” Толстого».

Зааплодировали восторженно, бешено. Можно сказать: исторически аплодировали, – запомнилось навсегда! И вот в последнее время, не знаю, с чьего свидетельства, появилась «творимая легенда», будто тут вышла недомолвка: якобы внезапный взрыв аплодисментов заглушил конец фразы Достоевского, – публика уже не слышала, как он, будто бы, договорил:

Я лично очень желал бы, чтобы так было, ибо считаю Наташу Ростову вполне достойною занять место в иконостасе русских женских характеров рядом с Татьяной и Лизой. Но тем не менее решительно отрицаю: Достоевским о Наташе ничего сказано не было. Это выдумка кого-то из позднейших ревнителей толстовского культа *ad majorem Leonis gloriam*⁸.

Сидел я так близко к Достоевскому, – можно сказать, в рот ему смотрел, – и слушал так внимательно, что уж никак не пропустил бы хвалебного приговора Наташе Ростовой, в которую был влюблен с первой отроческой грамотности.

Но, кроме моего личного свидетельства, есть опровержение более авторитетное: самим Достоевским. Если бы упоминание о Наташе Ростовой не дошло до публики только по недоразумению, из-за слишком поспешных рукоплесканий в честь Тургенева, то оно должно было бы сохраниться и даже, – именно ввиду пропуска, не зависевшего от оратора, – особенно подчеркнуто быть в печатном тексте речи, в августовском выпуске «Дневника писателя». Этого нет. И ни в одном последующем печатном тексте и в полемических статьях «Дневника» тоже нет.

А если нет, то, значит, и не было речи о Наташе Ростовой. Ибо, если бы была, то уж вычеркивать-то ее из печатного текста Достоевский, конечно, не стал бы: за что?! Нет: просто он не упоминал, а те, позднейшие, кому впоследствии обидно стало, зачем не упомянул, от себя присочинили. В чем, в чем другом, а в «папистах пуще самого папы» русская интеллигенция никогда не терпела недостатка. Поусердствовали – и переусердствовали.

⁸ К вящей славе Льва (*лат.*).

Д. А. Олсуфьев

<...> Но более всего Пушкинские торжества должно признать за событие еще и потому, что центральным лицом после Пушкина в те дни явился Достоевский, выступивший как проповедник христианства, как пророк-учитель в библейском значении этого слова.

Ораторов в прямом значении этого слова мы на пушкинских торжествах не слышали: все выступавшие читали свои рукописные доклады. То же сделал и Достоевский; он не говорил речи; он прочел свой доклад; но прочел его гениально.

Достоевского я видел только на пушкинских торжествах и наблюдал его издали из рядов зрителей. Он вспоминается мне невысоким, щедедушным, с лицом бледным, напряженно-сосредоточенным и неприветливым, с живыми пронизательными, чернеющими, как угольки, глазами; всё обличие его являло что-то нервное и болезненное. Рядом с красивым, величавым старцем Тургеневым Достоевский казался маленьким и невзрачным. Голос у него был высокого тембра и средней силы, так что некоторые слова, которые Достоевский хотел особенно подчеркнуть, он почти выкрикивал. Читал он свой доклад просто и вместе необычайно сильно по выразительности и по какой-то особенной проникновенности. В обширной, наполненной народом зале каждый слушатель мог слышать отчетливо и впитать в себя каждое слово.

По мере чтения внимание слушателей всё более и более притягивалось к чтецу. Словно какие-то неуловимые токи, какие-то невидимые нити начали понемногу связывать в одно целое проповедника и аудиторию. Чтение было продолжительное; но внутреннее возбуждение слушателей не ослабевало, но все возрастало. Когда же раздались последние заключительные аккорды речи – о Царстве Христовом и о призвании русского народа осуществить его на земле – и когда, наконец, оратор закончил свое слово, то в зале произошло что-то неопишное: успех речи был неслышанный и потрясающий!

Еще раз напомню, что в те дни на эстраде великолепного зала московского Дворянского собрания восседал весь ареопаг тогдашней славнейшей эпохи русской литературы. Можно сказать, что в те дни в этом зале, в сердце России – Москве – был собран и весь мозг тогдашней России. Ибо если на эстраде восседали корифеи нашей словесности и искусства, то и две – три тысячи человек, переполнявшие зал, представляли не случайную толпу, но общество в интеллектуальном смысле самое избранное. Желавших получить места было так много, что билеты распределялись заранее и с большим выбором. Не будет преувеличением сказать, что аудитория, слушавшая Достоевского, включала в себя весь цвет тогдашней образованности; а главное, и это надо подчеркнуть, слушателями Достоевского были люди различных и противоположных направлений, далеко не единомысленники. И что же? По окончании речи и седовласые старцы, и румяная молодежь, и мужчины и женщины – все были охвачены каким-то почти мистическим восторгом, всех захватил какой-то почти религиозный экстаз. Раздавшиеся рукоплескания и клики не были обычным бурным одобрением публики великому артисту, но как бы общею единодушною «Осанною», прозвучавшею со всех концов зала во славу *великого учителя*, сказавшего боговдохновенное слово. В тот знаменательный час на призыв Достоевского ко всем русским людям объединиться вокруг имени Христа и объединить всё человечество, всех людей-братьев под Христовым Евангельским Законом – все его слушатели «единым сердцем и едиными устами» восторженно ответили ему: «Да будет так, аминь!»

Пишущий эти строки был свидетелем этого потрясающего момента. В зале произошло общее движение; все бросились к Достоевскому; а один юноша, рассказывали, упал на эстраде в обморок в каком-то иступлении. По свидетельству самого Достоевского («Дневник писателя» 1880 г.), даже литературные враги его с горячностью приветствовали и называли речь

его гениальной. Следующий по порядку оратор – И. С. Аксаков отказывался от слова, объявив, что всё уже сказано Достоевским и более нечего добавлять.

Председательствующий был вынужден объявить перерыв, много-много времени понадобилось, чтобы публика пришла в себя и успокоилась и чтобы можно было продолжать заседание.

Да! Это был, по общему признанию, незабываемый момент в истории русской общественности!

По окончании торжеств мы, молодежь, поехали к родителям в деревню в приподнятом настроении от пережитых впечатлений и там хотели приобщить к нашим чувствам тех, кто не был на торжествах. Конечно, мы начали с чтения вслух речи Достоевского. Увы! нас ожидало горькое разочарование. У новых слушателей речь эта восторга не вызвала. Между ними находился один образованный врач, малоросс, научник радикального образа мыслей: общее впечатление от речи Достоевского вызвало даже гримасу на его лице. Он начал возражать, критиковать и вообще обдал холодной водой наш юношеский пыл. Нам, молодым, это было горько и обидно. Но я всё же уверен, что эти же самые люди, а их вскоре оказалось очень много, которые *потом* в печати и разговорах разбирали и порицали речь Достоевского, если бы они присутствовали в тот час, когда произносил ее сам Достоевский, то и они были бы охвачены тем внутренним огнем, который исходил от оратора, и они поддались бы общему чувству, увлекшему всех его слушателей. <...>

Д. Н. Любимов

<...> Среди ряда торжеств, ознаменовавших в Москве открытие памятника величайшему русскому поэту, которым, по известному выражению Герцена, Россия ответила на вызов, брошенный ей реформами Петра, особенно выдающимся было заседание Общества любителей российской словесности, состоявшееся в громадном зале Московского дворянского собрания 8 июня 1880 года.

[Ровно четверть века назад в той же зале, почти на том же месте, за колоннами, я пережил ощущения, которые сохранились на всю мою жизнь. Это было 8 июня 1880 года, во время торжества по поводу открытия в Москве памятника Пушкину, на заседании московского Общества любителей российской словесности, прославленном речью Достоевского. Из всех речей и вообще публичных выступлений, которые мне пришлось когда-либо слышать и видеть, ничто не произвело на меня такого сильного впечатления, как эта вдохновенная речь.]

Ясно помню, как, забравшись задолго до открытия заседания, я, тогда лицеист одного из младших классов Московского (Катковского) лицея, стоял между колонн с моим репетитором, студентом, жившим у нас в доме, которого мы все в доме звали «Энтузиастом» за постоянную восторженность. Он знал наизусть все важнейшие стихи Пушкина, постоянно их декламировал и считал себя поэтом.

Громадная зала, уставленная бесконечными рядами стульев, представляла собою редкое зрелище: все места были заняты блестящею и нарядною публикою; стояли даже в проходах; а вокруг залы, точно живая волнующаяся кайма, целое море голов преимущественно учащейся молодежи, занимавшее всё пространство между колоннами, а также обширные хоры. Вход был по розданным даровым билетам; в самую же залу – по особо разосланным приглашениям. Сюда стекались приехавшие на торжества почетные гости, представители литературы, науки, искусства и всё, что было в Москве выдающегося, заметного, так называемая «вся Москва».

В первом ряду, на первом плане – семья Пушкина. Старший сын Александр Александрович, командир Нарвского гусарского полка, только что пожалованный флигель-адъютантом, в военном мундире, с седой бородой, в очках; второй сын – Григорий Александрович, служивший по судебному ведомству – членом палаты в Вильне, моложавый, во фраке; две дочери: одна – постоянно жившая в Москве, вдова генерала Гартунга, заведовавшего еще недавно Московским отделением государственного коннозаводства и застрелившегося в зале суда во время процесса, к которому он был привлечен, и другая – графиня Меренберг – морганатическая супруга герцога Гессен-Нассауского, необыкновенно красивая, похожая на свою мать. Накануне я видел их в университете и участвовал в овациях, устроенных им публикою, профессорами и студентами. Когда ректор, говоря речь, упомянул о том, что Пушкин где-то сказал, что его более всего трогает, когда чествуют потомков за заслуги их знаменитых предков в виду полного бескорыстия и искренности этих чествований, весь совет профессоров, сидевших на эстраде, а за ними и вся зала, как один человек, встала со своих мест и, обратившись в сторону Пушкиных, разразилась долго не смолкавшими рукоплесканиями.

Рядом с Пушкиными сидел, представляя собою как бы целую эпоху старой патриархальной Москвы, московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Он правил Москвою свыше двадцати пяти лет, целые поколения москвичей сменились за это время; я сам родился, вырос и поступил на службу за время его правления. Рядом с ним сидел прибывший на торжества «по высочайшему повелению», как представитель правительства, что придавало торжествам особое значение, недавно сменивший на посту министра народного просвещения графа Д. А. Толстого статс-секретарь А. А. Сабуров, единственный в зале в вицмундирном фраке с двумя звездами и лентой по жилету. Высокий, худой, с сухим, совершенно бритым лицом, в густо накрахмаленном стоячем воротничке, казавшийся как бы олицетворе-

нием сановно-бюрократического Петербурга среди дворянско-купеческой, ученой, литературной и артистической Москвы.

Затем следовала административная Москва, иерархи, губернатор, обер-полицмейстер, попечитель учебного округа князь Н. П. Мещерский, представители московского дворянства, предводители: князь А. В. Мещерский, граф А. В. Бобринский, граф С. Д. Шереметев, семьи Самариных и Черкасских, от которых так и веяло эпохой освобождения крестьян; старые князья Трубецкие и молодые – игравшие впоследствии столь значительную роль в московском дворянстве, тогда еще студенты – стояли недалеко от меня за колоннами.

С дворянством сидело именитое купечество московское. Братья Третьяковы – городской голова С<ергей> М<ихайлович>, «брат галереи», и П<авел> М<ихайлович> – «сама галерея», как звали в Москве создателя знаменитого московского музея. Тут же сидели владельцы сказочных мануфактур: братья Морозовы – «Саввы Морозова сыновья»; Коншины, Губкины, Алексеевы, Кузнецовы и др.; железнодорожные тузы: фон Дервиз, фон Мекк, Поляков (Лаз<арь> Сол<омонович>), Губонин – знаменитый Петр Ионович – в длинном сюртуке, высоких сапогах и со Станиславской звездой на груди. Еще недавно в двадцатипятилетие царствования Александра II Губонин заставил говорить о себе всю Москву, поднеся государю серебряную статую крестьянина, осеняющего себя крестным знаменем, с знаменитой подписью: «От бывшего крепостного крестьянина, в Твое славное царствование, Государь, освобожденного, ныне тайного советника Петра Губонина».

Обращала на себя всеобщее внимание группа, сидевшая рядом: оба брата Рубинштейна, директора и создатели консерваторий, Антон – Петербургской и Николай – Московской. Живое вспомнилось мне, как в той же зале зимой я видел их триумф. Они играли в четыре руки одну из рапсодий Листа. Зала была так увлечена их игрою, что, когда в патетическом месте они оба, сильно ударив по клавишам, вскинули кверху руки, продержав их несколько секунд, и вновь опустили на клавиши, я заметил, как несколько лиц, сидевших предо мною, приподнялись на стульях и опустились опять, когда Рубинштейны вновь коснулись клавиш. Тут же сидел П. И. Чайковский, живший тогда в Клину под Москвою и недавно поставивший в Москве своего «Евгения Онегина». Дня два перед тем на рауте в Думе он дирижировал своей новой симфонией, имевшей громадный успех. Рядом с ним сидел знаменитый петербургский виолончелист К. Ю. Давыдов, впоследствии директор консерватории, необыкновенным исполнением «Сомнения» Глинки в той же зале еще недавно обвороживший всю Москву.

Адвокатский мир, игравший тогда в Москве значительную роль, был чуть ли не весь налицо во главе с А. В. Лохвицким и Ф. Н. Плевако.

Всех, кто еще был в зале из московских знаменитостей, не перечесать. Был и Московский университет – в полном составе. Были и приезжие профессора: Д. И. Менделеев и др. Но если зала по своему составу представляла на редкость интересное зрелище, то на эстраде зрелище было еще интереснее.

Эстрада была устроена в конце зала, во всю его ширину, на том месте, где двери ведут в Екатерининскую ротонду, где стояла бронзовая статуя императрицы Екатерины. Эстрада была обита зеленым сукном, и во всю длину ее стоял громадный стол; направо – кафедра; за нею алебастровый снимок памятника Пушкину, украшенный лавровым венком и цветами. Вокруг стола сидели и между ними стояли члены общества, все во фраках и белых галстуках. Здесь я многих не знал, так как большинство были приезжие, но мой спутник «Энтузиаст», знавший всех известных русских литераторов по фотографиям, украшавшим стены его скромной комнаты, и на которые я постоянно глядел во время уроков, мне называл, захлебываясь от восторга, их имена – одно громче другого.

Направо от председателя общества – старика с большой бородой, в очках, издателя журнала «Русская мысль», известного переводчика Кальдерона и Шекспира С. А. Юрьева, которого звали в Москве «последним могиқаном 40-х годов», на почетном месте сидел представи-

тельный старик с длинными седыми волосами, постоянно спадавшими на лоб, и окладистой, аккуратно подстриженной бородой. Он был одет во фрак иностранного покроя, но в плисовых сапогах без каблуков, что, видимо, означало подагру; он читал какую-то записку, поминутно то надевая, то снимая золотое пенсне. «Тургенев! Иван Сергеевич!..» – восторженным шепотом пояснял «Энтузиаст». Рядом с ним сидел на стуле вполуборот высокий старик с маленькой бородкой, большим лбом и громадную плешью на коротко обстриженной седой голове и, смеясь, разговаривал со стоявшим почтительно перед ним лицом типичного актерского вида. «Это Островский, Александр Николаевич!» – шепчет «Энтузиаст». Актера же, стоявшего перед ним, не надо было называть. Это был известный всем и каждому Иван Федорович Горбунов. На пушкинском обеде, после торжественных речей говоривших по поручению Думы «от города Москвы» М. Н. Каткова и И. С. Аксакова, Горбунов рассмешил всех до слез, выступив представителем от мифического «генерала Дитятин», обиженного, что «чествуют какого-то Пушкина, человека штатского, небольшого чина, а он, генерал Дитятин, даже не приглашен».

Рядом с Островским сидел Д. В. Григорович, еще моложавый, с красивыми бакенбардами; он поминутно вскакивал с места и подходил то к Тургеневу, то к другим. Затем группа из трех лиц, оживленно между собою разговаривавших; все они имели зачесанные назад волосы и очень симпатичные лица. «Вот наш Парнас! наши поэты, наследники Пушкина, – в том же восторге говорил “Энтузиаст”, – вот тот, который говорит, – это Майков Аполлон! направо – Полонский Яков Петрович, налево – Плещеев Алексей Николаевич, а вот там, на другой стороне, сидит Фет, – не унимался “Энтузиаст”, – то есть теперь Шеншин – он, как сказал Тургенев, променял этим “имя” на фамилию».

Я взглянул в указанную сторону и увидел старого человека, с виду совершенно захоластного помещика, в необыкновенно широком и длинном фраке, с всклокоченною бородою, который с видимым раздражением что-то говорил подошедшему Григоровичу. Я смотрел с удивлением, и в ушах невольно звучало: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...». Стоявший рядом с нами молодой безусый студентик, видимо, охваченный тем же чувством, даже воскликнул: «Неужели это Фет?». «Энтузиаст» посмотрел на него строго. В конце стола сидели два старика, как-то особняком, молчаливо и грустно. Один, очень толстый, обрюзгший, с неправильными чертами лица, опирался на палку с гуттаперчевым наконечником. Замечательно, что такие палки были у Тургенева и Полонского. На это обратил внимание стоявший рядом с нами желчный господин, которого я мысленно называл «скептиком», так как он уже несколько раз относился с сомнением к сообщаемым «Энтузиастом» сведениям. Он ядовито заметил: «Это, вероятно, новая литературная мода; показательно!»

Тучного старика я узнал – это был Писемский; «Алексей Феофилактович, – торжественно объяснил “Энтузиаст”, – живет в Москве в своем доме, в Борисоглебском переулке, рядом с Собачьей площадкою». Знаменитый автор столь на шумевшей когда-то «Горькой судьбины», которого предшествовавшее нам поколение носило на руках, переживал теперь свою славу. Романы его становились всё тусклее и скучнее. В Москве ходило по рукам и было в копии у «Энтузиаста» его трогательное письмо к Тургеневу, начинавшееся так: «Я устал писать, а еще более жить». На Пушкинских торжествах он выступил с речью «Пушкин как исторический романист», но читал он ее по тетрадке и как-то вяло, хотя славился как знаменитый чтец, и речь его прошла незаметною; умер он через полгода, почти одновременно с Достоевским.

Другой старик, молчаливо сидевший рядом, напротив, был худой, тщательно одетый и подстриженный, с очень красивыми и спокойными чертами лица, никому не был известен, между тем по занимаемому им за столом месту должен был быть знаменитостью. «Энтузиаст», видимо, очень мучился этим; вдруг он воскликнул, и так громко, что все вокруг обернулись: «Да ведь это Гончаров Иван Александрович! Да ведь этот старик, господа, целый мир, это “Обыкновенная история”, “Обломов”, это “Обрыв”!» Скептик отрицал, что это Гончаров,

говоря, что тот сидит в Петербурге, давно уже никуда не ездит, и напал на бедного «Энтузиаста», язвительно говоря: «Вы не изволите приводить никаких доказательств, кроме перечисления произведений Гончарова, начинающих на “О”...». «Энтузиаст» надулся и временно замолк, но впоследствии оказалось, что он был прав.

По другую сторону от председателя, полуоборотом к публике стоял столь в Москве и мне лично известный Иван Сергеевич Аксаков. Популярность его в Москве была громадная, особенно после его недавней речи о Берлинском конгрессе в Славянском обществе. В Москве говорили, что ему грозила высылка в Уфу, если бы «хозяин столицы» грудью его не отстоял. Он издавал тогда в Москве «Русь» и был бессменным, уже двадцать лет, директором московского Купеческого банка; женат он был на дочери поэта Федора Ивановича Тютчева, которая была до свадьбы воспитательницей великой княгини Марии Александровны. Тютчев писал по этому случаю: «Привалило счастье Ване, он женат на царской няне»...

Аксаков, с обычной своей жестикულიацией, говорил с невысоким, еще молодежым человеком с характерным, энергичным лицом, одетым совершенно необыкновенно. Он был во фраке, но в черном галстуке и на шее, на широкой ленте, висел Георгиевский крест. Все в зале знали, кто это такой; его изображение несколько лет тому назад виднелось в Москве во всех витринах магазинов, на лубочных картинах, на коробках конфет, на леденцах. Это был генерал Черняев – один из самых замечательных и талантливых мировых скитальцев наших, о которых писал Тургенев и о которых Достоевский говорил в своей речи, что они прошли мимо, не исполнив того, что им было предназначено судьбою. М. Г. Черняев – завоеватель Туркестана, взявший приступом Ташкент, на свой риск и страх, вопреки распоряжению начальства и сам первый вскочивший на вал в тот же день вечером, хорошо понимая Восток, всего с двумя казаками, среди изумленного населения, проехавший через весь город в туземную баню, будто находился среди мирных соотечественников, уже тогда стяжал себе легендарную славу. Потом – герой сербского восстания: я сам видел, как тысячами народ бежал за ним по Театральной площади в Москве, когда он возвращался из Сербии. Аксаков тогда приветствовал его стихотворением, начинавшимся так:

Архистратиг Славянской рати,
Безукоризненный герой!

М. Г. Черняев много раз был в отставке; был нотариусом в Москве, издавал «Русский мир» в Петербурге; в дни пушкинских торжеств он жил в Москве и был сотрудником аксаковской «Руси».

Рядом за Аксаковым сидел, углубившись в чтение каких-то листков, будущий герой настоящего собрания – чего еще никто не знал – Федор Михайлович Достоевский; он имел вид усталый и болезненный.

Я близко видел его накануне; он заезжал к моему отцу по поводу печатавшейся тогда в «Русском вестнике» последней части «Карамазовых». Отец мой – тогда профессор Московского университета (1854–1882) – был в то же время редактором (с 1863 по 1882, до переезда в Петербург) издаваемого М. Н. Катковым «Русского вестника», в котором были напечатаны почти все главнейшие произведения Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»). Помню, как накануне, уходя от отца, Достоевский торопливо говорил ему: «Мне надо скорее к себе в Лоскутную, надо еще позаняться; я завтра читаю».

До этого я видел Достоевского зимою 1880 года. Он приезжал из Петербурга и у нас обедал. Тогда же на обеде были: Б. М. Маркевич – тоже из Петербурга – автор «Четверти века назад», внешне полная противоположность Достоевскому, человек необыкновенно изящной внешности и утонченного обращения; П. И. Мельников (Андрей Печерский), М. Н. Катков, К. Н. Леонтьев и кто-то из профессоров.

За обедом Достоевский говорил мало и неохотно. Мы с «Энтузиастом», с конца стола, всё время наблюдали за ним. Но он оживился, когда заговорили о «Братьях Карамазовых», которые тогда печатались. Маркевич говорил очень интересно и красиво, постоянно вскидывая лорнет и обводя им присутствовавших, он чрезвычайно тактично рассказывал о том громадном впечатлении, которое произвела в петербургских «сферах» повесть о «Великом Инквизиторе» (как в светских, так и в духовных). Много из обмена мыслей по этому поводу я тогда не понял. Говорили главным образом Катков и сам Достоевский, но я припоминаю, что из разговора (насколько я понял) выяснилось, что сперва, в рукописи у Достоевского, всё то, что говорит Великий Инквизитор о чуде, тайне и авторитете, могло быть отнесено вообще к христианству, но Катков убедил Достоевского переделать несколько фраз и, между прочим, вставить фразу: «Мы взяли Рим и меч кесаря»; таким образом, не было сомнения, что дело идет исключительно о католичестве. Помню при этом, Достоевский отстаивал правильность основной идеи Великого Инквизитора о необходимости приспособить высокие истины христианства к разумению обыденных людей. Другие собеседники шли дальше, видя в этом приспособлении подвиги и заслуги отцов Церкви. Приводился пример: что может быть лучше для измученной души человека, потерявшего своего близкого, чем православная панихида с ее необыкновенными, примиряющими со смертью, окутанными тайною словами? А между тем Христос прямо сказал: предоставьте мертвым погребать мертвецов...

Я очень сожалею, что тогда я еще не имел обыкновения записывать то, что меня поражало, и теперь вынужден приводить на память не вполне даже мной тогда понятый, столь исключительный по интересу разговор. Но общий смысл его я помню ясно.

На описываемом собрании 8 июня читавший листки свои Достоевский казался очень угрюмым и озабоченным. Вспоминаю еще подробность, небезынтересную для последующего. В Москве, даже в зале, много говорили о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеневым, так как Тургенев не мог простить Достоевскому, что тот его так зло осмеял в «Бесах». Распорядители были в отчаянии, и Д. В. Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встретились. Однако на рауте, в Думе, приключился такой случай. Григорович, ведя Тургенева под руку, вошел в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Заметив Тургенева, он сейчас же обернулся спиной и стал смотреть в окно. Григорович засуетился и потянул Тургенева в другую комнату, говоря: «Пойдем, я покажу тебе здесь одну замечательную статую». – «Ну, если та такая же, как эта, – ответил Тургенев, указывая на Достоевского, – то, пожалуйста, уволь».

За Достоевским на эстраде Дворянского собрания сидел веселый и улыбающийся, с чисто русским лицом, окладистой бородою, с виду совершенный купец-тысячник, Павел Иванович Мельников. Далее – целый ряд лиц: А. А. Краевский, издатель «Голоса», приехавший с какими-то полномочиями от русской прессы и не проронивший ни слова на всех торжествах. Его прозвали в Москве «Каменным гостем Пушкинских дней». Тут же сидел М. М. Стасюлевич, издатель «Вестника Европы» (куда из «Русского вестника» перешел Тургенев), и начинавший входить в силу в литературном мире А. С. Суворин.

«Энтузиаст» продолжал перечислять имена, но как-то менее уверенно и даже робко.

– Вот поэт Минаев, – говорил он, – или нет, это драматург Аверкиев.

«Скептик» налетел на «Энтузиаста».

– Ничего подобного! – утверждал он, – этот – бритый, Минаев с бородой, а у Аверкиева бородка вроде Шекспира.

«Энтузиаст» надолго умолк, а «Скептик», овладев положением, стал объяснять, что блещет своим отсутствием граф Лев Толстой – он «опростился» и сидит в Ясной Поляне. Ему три раза посылали приглашение, но он ответил, что считает за величайший грех всякое торжество. «Нет также Каткова», – заметил кто-то. «Ну, этот сказался больным из-за политики, – заявил решительно «Скептик» и добавил: – а Щедрин лечится за границей на теплых водах...»

Все рассуждения были прерваны звонком председателя; был ровно час дня, и он объявил заседание открытым. Все на эстраде заняли свои места, и С. А. Юрьев сказал несколько слов о необыкновенном сегодняшнем составе совета общества; почти все без исключения почетные члены общества откликнулись на приглашение.

Затем на кафедру вошел А. Н. Плещеев, видный, красивый, несмотря на свои годы. С виду совершенный боярин XVI столетия. Невольно вспоминались слова Карамзина о том, как при великом князе Василии стольник Плещеев (один из предков поэта), посланный в Царьград, отказался стать на колени, и «поклон падишаху правил стоя» и «гордостью своею изумил весь двор баязитов».

Плещеев прочел свое прекрасное стихотворение с большим подъемом и чувством, постоянно обращаясь к статуе Пушкина. Когда он сходил с кафедры, ему громко и долго рукоплескали. Он продолжал кланяться даже со своего места.

Затем раздался голос председателя:

– Слово принадлежит почетному члену общества Федору Михайловичу Достоевскому.

Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно пошел к кафедре, продолжая нервно перебирать руками листки – список своей речи. Он мне показался осунувшимся со вчерашнего дня. Фрак на нем висел, как на вешалке; рубашка была уже измята; белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. К тому же он волочил одну ногу. «Энтузиаст», вновь оживившийся, объяснял окружающим:

– Это оттого, что он был столько лет в каторге; им ядра привешивают к ногам...

Скептик язвительно оспаривал:

– Это во Франции, вы у Дюма прочли, в «Монте-Кристо»...

Мне показалось тогда, что «Скептик» прав, но много лет спустя князь Михаил Сергеевич Волконский, проводивший всё детство и юность в сибирской ссылке с отцом своим – известным декабристом, рассказывал мне, что он однажды видел, как «гнали партию каторжников» из одной тюрьмы в другую – ему указали на одного из них, говоря: «Это литератор Достоевский». Он увидел человека сумеречного, болезненного вида, который шел, гремя цепями, «в паре» с другим каторжником, и они были прикованы один к другому...

Достоевский, встреченный громом рукоплесканий, взойдя на кафедру, – я помню ясно все подробности – протянул вперед руку, как бы желая остановить хлопки. Когда они понемногу смолкли, он начал прямо, без обычных «милостивые государыни, милостивые государи» – «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь... Прибавлю от себя: и пророческое».

Первые слова Достоевский сказал глухо, но последние каким-то громким шепотом, как-то таинственно. Я почувствовал, что не только я, но вся зала вздрогнула и поняла, что в слове «пророческое» вся суть речи и Достоевский скажет что-нибудь необыкновенное. Это не будет – обыденная на торжествах речь, состоящая из красивых фраз, как была у Тургенева накануне, а что-то «карамазовское», тяжелое, мучительное, длинное, но душу захватывающее, от которого оторваться нельзя.

Достоевский заметил произведенное впечатление и повторил громко: «Да, в появлении Пушкина для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое». Я не буду пересказывать знаменитой речи Достоевского – все ее помнят. Скажу только, что он прочел ее с выразительностью необычайной! Голос его то звучал глухо, то раздавался на всю залу, то снова переходил в какой-то таинственный шепот.

[Разделив творчество Пушкина на три периода, Достоевский указал, что уже в первом периоде, в «Цыганах», в лице Алеко Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, «того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем». Этому скитальцу необходимо не только личное, не только русское, но именно всемирное счастье, чтобы успокоиться; дешевле

он не примирится. Человек этот зародился в начале второго столетия после реформы Петра в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа нашего.

– Конечно, – продолжал Достоевский, всё возвышая голос, так что голос его теперь звучал на всю залу, но в нем иногда слышались нервные, болезненные ноты, – теперь огромное большинство интеллигентных русских людей мирно служит чиновниками или в банках; играет копейную игру в преферанс, без всяких поползновений бежать, как Алеко, в цыганские таборы. Много, много если полиберальничает «с оттенком европейского социализма», которому придаст русский добродушный характер, но это лишь временно. – Тут голос Достоевского перешел опять в таинственный шепот, но была такая тишина в зале, что каждое слово было ясно слышно. – Да, это вопрос только времени, – продолжал он. – Это всех нас в свое время ожидает, если мы не выйдем на настоящую дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех; довольно лишь десятой доли обеспокоившихся, чтобы остальным, громадному большинству, не видеть через них покоя... Начнется плач, скорбь, страхи по потерянной где-то и кем-то правде, которую никто отыскать не может... А между тем правда в себе самом. Найди себя в себе, и узришь правду...

Здесь Достоевский хотел что-то отыскать в своих листках, но, видимо, не нашел, бросил их и прямо перешел к самому, как он выразился, положительному типу Пушкина – к Татьяне].

Помню явственно – как упомянул он о Тургеневе.

– Татьяна, это тип положительной красоты, это апофеоз русской женщины! – воскликнул он. – Такой красоты положительный тип русской женщины уже не повторялся в нашей литературе... кроме, пожалуй, – тут Достоевский точно задумался, потом, как бы преодолевая себя, быстро произнес: кроме разве Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева...

Вся зала посмотрела на Тургенева. Тот взмахнул руками и заволновался; затем опустил голову и закрыл лицо ладонями. Мне показалось, будто он плачет... Достоевский остановился, посмотрел на него, затем отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Несколько секунд длилось молчание; затем Достоевский продолжал.

[– Но Онегин не понял Татьяны. Не мог понять. Татьяна прошла в первой части романа не узнанная, не оцененная им... О, если бы тогда в деревню, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или сам лорд Байрон и указал ему на нее... О! Тогда Онегин был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах русских так много подчас лакейства духовного! Татьяна это поняла. В бессмертных строфах романа Пушкин изобразил ее посещающей дом этого столь чудного, столь еще загадочного для нее человека... Губы ее тихо шепчут: уж не пародия ли он? Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным и в конце романа, как это сделала бы какая-нибудь француженка или италиянка!

«Энтузиаст» шепнул мне на ухо: «Ведь это целый переворот в воззрениях! Ведь Белинский в этом и упрекал Пушкина...».

Раздались громкие рукоплескания.

Сделав небольшую паузу, Достоевский перешел к отношению Пушкина к народу русскому.

– Ни один писатель ни прежде, ни после него, – говорил он, – не соединился так душевно, так родственно с народом своим, как Пушкин. У нас много знатоков народа между писателями нашими. Писали о нем талантливо, тепло, любовно; а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то, право же, это лишь «господа», о народе пишущие... за одним, много двумя исключениями, да и то в последнее время...

Тут Достоевский остановился и посмотрел на эстраду, точно ища кого-то... «Ищет Толстого, – шепнул мне “Энтузиаст”, – но кто же второй?»

Достоевский помолчал, опять потрепал свои листки, которыми мало пользовался, затем поднял голову...]

Аудитория слушала его с благоговейным напряжением. В зале была такая тишина, что каждое сказанное сдавленным шепотом слово было слышно всем...

В конце речи Достоевский заговорил как-то особенно громко, вдохновенно, владея теперь безраздельно всей залой. Он высказывал теперь главную свою мысль. Все это поняли, глаза всей залы впились в Достоевского, который перешел к последнему периоду деятельности Пушкина. «Здесь Пушкин нечто чудесное, невиданное до него нигде и ни у кого».

[Были громадной величины гении, разные Шекспир, Сервантесы, Шиллеры, но нет ни одного, который обладал бы такою способностью к всемирной отзывчивости, как Пушкин. Эту способность, главнейшую способность национальности нашей, он разделяет с народом своим, и тем, главнейше, он и народный поэт! Даже у Шекспира все его итальянцы – те же англичане. Пушкин один мог перевоплотиться вполне в чужую народность. Перечтите «Дон-Жуана», и, если бы не было подписи Пушкина, вы бы не поверили, что писал не испанец! Помните: воздух лаврами и лимонами пахнет!.. А сцена из Фауста – разве это не Германия? А в «Пире во время чумы» – так и слышен гений Англии. А «Подражание Корану», это ли не ислам?..

Достоевский цитировал, приводя на память, целый ряд примеров из стихотворений Пушкина.]

– Да! Пушкин, несомненно, предчувствовал великое грядущее назначение наше. Тут он угадчик, тут он пророк! Стать настоящим русским, может быть, и значит только стать братом всех людей – «всечеловеком»...

[И всё это славянофильство и западничество наше есть только одно великое между нами недоразумение. Вся история наша подтверждает это. Ведь мы всегда служили Европе более, чем себе. Не думаю, что это от неумения наших политиков происходило... Наша, после долгих исканий, быть может, задача и есть внесение примирения в европейские противоречия; указать исход европейской душе; изречь окончательное слово великой гармонии, братского согласия по Христову евангельскому закону...]

Тут Достоевский остановился и как-то всплеснул руками, как бы предвидя возражения, но вся зала замерла и слушала его, как слушали когда-то пророков.

– Знаю, – воскликнул Достоевский, и голос его получил какую-то даже непонятную силу, в нем звучал какой-то экстаз, – прекрасно знаю, что слова мои покажутся восторженными, преувеличенными, фантастичными; главное, покажутся самонадеянными: «Это нам-то, нашей нищей, нашей грубой земле такой удел, это нам-то предназначено высказать человечеству новое слово?». Что же? Разве я говорю про экономическую славу? Про славу меча или науки? Я говорю о братстве людей. Пусть наша земля нищая, но ведь именно нищую землю в рабском виде исходил, благословляя, Христос. Да сам-то он, Христос-то, не в яслях ли родился?

Если мысль моя фантазия, то с Пушкиным есть на чем этой фантазии основываться. Если бы Пушкин жил дольше, он успел бы разъяснить нам всю правду стремлений наших. Всем бы стало это понятно. И не было бы между нами ни недоразумений, ни споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем...]

Последние слова «И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем...» Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустил голову и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании. Зала точно замерла, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: «Вы разгадали!» – подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Вся зала встрепенулась. Послышались крики: «разгадали! разгадали!», гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские взвизги. Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такою бурей восторга. Кричали и хлопали буквально все – и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского. Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с

болезненными криками: «Достоевский, Достоевский!» – и вдруг упал навзничь в обмороке. Его стали выносить.

Достоевского увели в ротонду. Ввели его под руки Тургенев и Аксаков; он, видимо, как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком. Зал продолжал волноваться. Я хватился «Энтузиаста», но рядом со мной его уже не было. Я увидел его около самой эстрады, что-то кричащего и машущего руками. «Скептика»⁹ притиснули к стене, и он отбивался от двух студентов, что-то ему горячо возражавших.

Вдруг по зале пронесся слух, неизвестно кем пущенный, что с Достоевским припадок падучей болезни, что он умирает. Множество лиц бросились на эстраду. Оказалось – совершенный вздор. Достоевского Григорович вывел под руку из ротонды на эстраду, продолжая махать над головою платком.

Председатель отчаянно звонил и повторял, что заседание продолжается и слово принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков в страшном волнении. Он вбегает на кафедру и кричит:

– Господа, я не хочу, да и не могу говорить после Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского событие! Всё разъяснено, всё ясно. Нет больше славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною.

Тургенев с места что-то кричит, видимо, утвердительное. Аксаков сходит с кафедры. Слышны крики: «Перерыв! перерыв!..». Председатель звонит и объявляет перерыв на полчаса. Многие расходятся.

Меня также увлекает «Энтузиаст»: «лучшего ничего мы не услышим и не увидим», говорит он сквозь слезы.

Я охотно соглашаюсь; я, как и все, сильно взволнован.

Я также был сильно взволнован речью Достоевского и всей ее обстановкой. Многого я тогда не понял, и многое потом, при чтении речи, показалось мне преувеличенным. Но слова Достоевского, а главное – та убедительность, с какою речь была произнесена, та вера в русское будущее, которая в ней чувствовалась, глубоко запала в душу.

Впоследствии много раз, в тяжелые минуты, особенно в ужасное время революции нашей, при соприкосновении с действительным, а не воображаемым русским народом и неприглядною русскою действительностью я готов был потерять веру в свой народ, в будущность России, во всё русское... И каждый раз я мысленно обращался к вдохновенным словам Достоевского, сказанным в обстановке старой Москвы, и, как Антей от прикосновения к родной земле, я почерпал новые силы для веры, несмотря на все испытания, в русский народ и в его великое будущее...

⁹ «Скептиком» оказался потом Мих. Петр. Соловьев – впоследствии начальник Главного управления по делам печати, тогда помощник присяжного поверенного (у А. В. Лохвицкого).

С. С. Бобчев

Это было в начале июня 1880 года. Я был студентом юридического факультета Московского университета и, сдав государственные экзамены, собирался уезжать в Болгарию. В виду предстоявшего торжественного освящения памятника Пушкину в Москве, вызывавшего большое общественное воодушевление, я решил отложить свой отъезд на несколько дней.

В качестве сотрудника «Московских ведомостей» я часто посещал редакцию этой газеты, где встречался, между прочим, с известным философом и писателем Константином Николаевичем Леонтьевым, большим другом Каткова и сотрудником его изданий: «Московских ведомостей» и «Русского вестника». Леонтьев был также близким другом и почитателем Достоевского. В то время Достоевский заканчивал печатание «Братьев Карамазовых» в «Русском вестнике».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.